

Виктор Астафьев. Пастух и пастушка

Современная пастораль

Любовь моя, в том мире давнем,

Где бездны, кущи, купола,-

Я птицей был, цветком и камнем.

И перлом - всем, чем ты была!

Теофиль Готье

И брела она по дикому полю, непаханому, нехоженому, косы не знавшему. В сандалиии ее сыпались семена трав, колючки цеплялись за пальто старомодного покроя, отделанного сереньким мехом на рукавах.

Оступаясь, соскальзывая, будто по наледи, она поднялась на железнодорожную линию, зачестила по шпалам, шаг ее был суетливый, сбивающийся.

Насколько охватывал взгляд - степь кругом немая, предзимно взявшаяся рыжеватой шерсткой. Солончаки накрапом пятнали степную даль, добавляя немоты в ее безгласное пространство, да у самого неба тенью проступал хребет Урала, тоже немой, тоже недвижно усталый. Людей не было. Птиц не слышно. Скот отогнали к предгорьям. Поезда проходили редко.

Ничто не тревожило пустынной тишины.

В глазах ее стояли слезы, и оттого все плыло перед нею, качалось, как в

море, и где начиналось небо, где кончалось море - она не различала.

Хвостатыми водорослями шевелились рельсы. Волнами накатывали шпалы. Дышать ей становилось все труднее, будто поднималась она по бесконечной шаткой лестнице.

У километрового столба она вытерла глаза рукой. Полосатый столбик, скорее вострый кол, порябил-порябил и утвердился перед нею. Она спустилась к линии и на сигнальном кургане, сделанном пожарными или в древнюю пору кочевниками, отыскала могилу.

Может, была когда-то на пирамидке звездочка, но, видно, отопрела. Могилу затянуло травую-проволочником и полынью. Татарник взнимался рядом с пирамидкой-колом, не решаясь подняться выше. Несмело цеплялся он заусенцами за изветренный столбик, ребристое тело его было измучено и остисто.

Она опустилась на колени перед могилой.

- Как долго я тебя искала!

Ветер шевелил полынь на могиле, вытеребивал пух из шишечек карлика-татарника. Сыпучие семена чернобыла и замершая сухая трава лежали в бурых щелях старчески потрескавшейся земли. Пепельным тленом отливала предзимняя степь, угрюмо нависал над нею древний хребет, глубоко вдавшийся грудью в равнину, так глубоко, так грузно, что выдавилась из глубин земли горькая соль, и бельма солончаков, отблескивая холодно, плоско, наполняли мертвенным льдистым светом и горизонт, и небо, спаявшееся с ним.

Но это там, дальше было все мертво, все остыло, а здесь шевелилась пугливая жизнь, скорбно шелестели немощные травы, похрустывал костлявый татарник, сыпалась сохлая земля, какая-то живность - полевка-мышка, что ли, суетилась в трещинах земли меж сохлых травок, отыскивая прокорм.

Она развязала платок, прижалась лицом к могиле.

- Почему ты лежишь один посреди России?

И больше ничего не спрашивала.

Думала.

Вспоминала.

Часть первая. БОЙ

"Есть упоение в бою!" -

какие красивые и устарелые слова!..

Из разговора, услышанного на войне

Орудийный гул опрокинул, смял ночную тишину. Просекая тучи снега, с треском полосая тьму, мелькали вспышки орудий, под ногами качалась, дрожала, шевелилась растревоженная земля вместе со снегом, с людьми, приникшими к ней грудью.

В тревоге и смятении проходила ночь.

Советские войска добивали почти уже задушенную группировку немецких войск, командование которой отказалось принять ультиматум о безоговорочной капитуляции и сейчас вот вечером, в ночи, сделало последнюю свертчаянную попытку вырваться из окружения.

Взвод Бориса Костяева вместе с другими взводами, ротами, батальонами, полками с вечера ждал удара противника на прорыв.

Машины, танки, кавалерия весь день металась по фронту. В темноте уже выкатывались на взгорok "катюши", поизорвали телефонную связь. Солдаты, хватаясь за карабины, зверски ругались с эрэсовцами - так называли на фронте минометчиков с реактивных установок - "катюш". На зачехленных установках

толсто лежал снег. Сами машины как бы приосели на лапах перед прыжком. Изредка всплывали над передовой ракеты, и тогда видно делалось стволы пушчонок, торчащих из снега, длинные спички пэтээров. Немытой картошкой, бесхозяйственно высыпанной на снег, виделись солдатские головы в касках и шапках, там и сям церковными свечками светились солдатские костерки, но вдруг среди полей поднималось круглое пламя, взнимался черный дым - не то подорвался кто на mine, не то загорелся бензовоз либо склад, не то просто плеснули горючим в костерок танкисты или шофера, взбодряя силу огня и торопясь доварить в ведре похлебайку.

В полночь во взвод Костяева приволоклась тыловая команда, принесла супу и по сто боевых граммов. В траншеях началось оживление.

Тыловая команда, напуганная глухой метельной тишиной, древним светом диких кострой - казалось, враг, вот он ползет-подбирается,- торопила с едой, чтобы поскорее заполучить термосы и умотать отсюда. Храбро сулились тыловики к утру еще принести еды и, если выгорит, водчонки. Бойцы отпускать тыловиков с передовой не спешили, разжигали в них панику байками о том, как тут много противника кругом и как он, нечистый дух, любит и умеет ударять врасплох.

Эрэсовцам еды и выпивки не доставили, у них тыловики пешком ходить разучились, да еще по уброду. Пехота оказалась по такой погоде пробойней. Благодушные пехотинцы дали похлебать супу, отделили курева эрэсовцам. "Только по нам не палить!" - ставили условие.

Гул боя возникал то справа, то слева, то близко, то далеко. А на этом участке тихо, тревожно. Безмерное терпение кончалось. У молодых солдат являлось желание ринуться в кромешную темноту, разрешить неведомое томление пальбой, боем, истратить накопившуюся злость. Бойцы постарше, натерпевшиеся от войны, стойче переносили холод, секущую метель, неизвестность, надеялись - пронесет и на этот раз. Но в предутренний уже час, в километре, может, в двух правее взвода Костяева послышалась большая стрельба. Сзади, из снега, ударили полторасотки-гаубицы, снаряды, шамкая и шипя, полетели над

пехотинцами, заставляя утягивать головы в воротники оснеженных мерзлых шинелей.

Стрельба стала разрастаться, густеть, накатываться. Пронзительней завывали мины, немазанно скрежетнули эрэсы, озарились окопы грозными всполохами. Впереди, чуть левее, часто, заполошно тьякала батарея полковых пушек, рассыпая искры, выбрасывая горячей вехоткой скомканное пламя.

Борис вынул пистолет из кобуры, поспешил по окопу, то и дело проваливаясь в снежную кашу. Траншеи хотя и чистили лопатами всю ночь и набросали высокий бруствер из снега, но все равно хода сообщений забило местами вровень со срезами, да и не различить было этих срезов.

- О-о-о-од! Приготовиться! - крикнул Борис, точнее, пытался кричать.

Губы у него состылись, и команда получилась невнятная. Помкомвзвода старшина Мохнаков поймал Бориса за полу шинели, уронил рядом с собой, и в это время эрэсы выхаркнули вместе с пламенем головатые стрелы снарядов, озарив и парализовав на минуту земную жизнь, кипящее в снегах людское месиво; рассекло и прошило струями трассирующих пуль мерклый ночной покров; мерзло застучал пулемет, у которого расчетом воевали Карышев и Малышев; ореховой скорлупой посыпали автоматы; отрывисто захлопали винтовки и карабины.

Из круговерти снега, из пламени взрывов, из-под клубящихся дымов, из комьев земли, из охающего, ревающего, с треском рвущего земную и небесную высь, где, казалось, не было и не могло уже быть ничего живого, возникла и покатила на траншею темная масса из людей. С кашлем, с криком, с визгом хлынула на траншеи эта масса, провалилась, забурлила, заплескалась, смывая разъяренными отчаяньем гибели волнами все сущее вокруг.

Оголодалые, деморализованные окружением и стужей, немцы лезли вперед безумно, слепо. Их быстро прикончили штыками и лопатами. Но за первой волной накатилась другая, третья. Все перемешалось в ночи: рев, стрельба, матюки, крик раненых, дрожь земли, с визгом откаты пушек, которые били теперь и по своим, и по немцам, не разбирая - кто где. Да и разобрать уже ничего было

нельзя.

Борис и старшина держались вместе. Старшина - левша, в сильной левой руке он держал лопатку, в правой - трофейный пистолет. Он не палил куда попало, не суетился. Он и в снегу, в темноте видел, где ему надо быть. Он падал, зарывался в сугроб, потом вскакивал, поднимая на себе воз снега, делал короткий бросок, рубил лопатой, стрелял, отбрасывал что-то с пути.

- Не психуй! Пропадешь! - кричал он Борису.

Дивясь его собранности, этому жестокому и верному расчету, Борис и сам стал видеть бой отчетливей, понимать, что взвод его жив, дерется, но каждый боец дерется поодиночке, и нужно знать солдатам, что он с ними.

- Ребя-а-ата-аа-а! Бей! - кричал он, взрыдывая, брызгаясь бешеной вспенившейся слюной.

На крик его густо сыпали немцы, чтобы заткнуть ему глотку. Но на пути ко взводному все время оказывался Мохнаков и оборонял его, оборонял себя, взвод. Пистолет у старшины выбили, или обойма кончилась. Он выхватил у раненого немца автомат, расстрелял патроны и остался с одной лопаткой. Оттоптав место возле траншеи, Мохнаков бросил через себя одного, другого тощего немца, но третий с визгом по-собачьи вцепился в него, и они клубком покатались в траншею, где копошились раненые, бросаясь друг на друга, воя от боли и ярости.

Ракеты, много ракет взмыло в небо. И в коротком, полощущем свете отрывками, проблесками возникали лоскутья боя, в адовом столпотворении то сближались, то проваливались во тьму, зияющую за огнем, ощеренные лица. Снеговая пороша в свете сделалась черной, пахла порохом, секла лица до крови, забивала дыхание.

Огромный человек, шевеля громадной тенью и развевающимся за спиной факелом, двигался - нет, летел на огненных крыльях к окопу, круша все на своем пути железным ломом. Сыпались люди с разваленными черепами, торной тропею по снегу стелилось, плыло за карающей силой мясо, кровь, копать.

- Бей его! Бей! - Борис пятился по траншее, стрелял из пистолета и не мог попасть, уперся спиной в стену, перебирал ногами, словно бы во сне, и не понимал, почему не может убежать, почему не повинуются ему ноги.

Страшен был тот, горящий, с ломом. Тень его металась, то увеличиваясь, то исчезая, сам он, как выходец из преисподней, то разгорался, то темнел, проваливался в геенну огненную. Он дико выл, оскаливал зубы и чудились на нем густые волосы, лом уже был не ломом, а выданным с корнем дубьем. Руки длинные, с когтями...

Холодом, мраком, лешачьей древностью веяло от этого чудовища. Полыхающий факел, будто отсвет тех огненных бурь, из которых возникло чудовище, поднялось с четверенек, дошло до наших времен с неизменившимся обликом пещерного жителя, овеществляя это видение.

"Идем в крови и пламени..." - вспомнились вдруг слова из песни Мохнакова, и сам он тут как тут объявился, рванул из траншеи, побрел, черпая валенками снег, сошелся с тем, что горел уже весь, рухнул к его ногам.

- Старшина-а-а-а-а! Мохнако-о-ов! - Борис пытался забить новую обойму в рукоятку пистолета и выпрыгнуть из траншеи. Но сзади кто-то держал, тянул его за шинель.

- Карау-у-у-ул! - тонко вел на последнем издыхании Шкалик, ординарец Бориса, самый молодой во взводе боец. Он не отпускал от себя командира, пытался стащить его в снежную норку. Борис отбросил Шкалика и ждал, подняв пистолет, когда вспыхнет ракета. Рука его отвердела, не качалась, и все в нем вдруг заостенело, сцепилось в твердый комок, теперь он попадет, твердо знал - попадет.

Ракета. Другая. Пучком выплеснулись ракеты. Борис увидел старшину. Тот топтал что-то горящее. Клубок огня катился из-под ног Мохнакова, ошметки разлетались по сторонам.

Погасло.

Старшина грузно свалился в траншею.

- Живой! Ты живой! - Борис хватал старшину, ощупывал.

- Все! Все! Рехнулся фриц! С катушек сошел!..- втыкая лопатку в снег, вытирая ее о землю, задышливо выкрикивал старшина.- Простыня на нем вспыхнула... Страсть!..

Черная пороша вертелась над головой, ахали гранаты, сыпалась стрельба, грохотали орудия. Казалось, вся война была сейчас здесь, в этом месте, кипела в растоптанной яме траншеи, исходя удушливым дымом, ревом, визгом осколков, звериным рычанием людей.

И вдруг на мгновение все опало, остановилось. Усилился вой метели.

- Танки! - разноголосо завопила траншея.

Из темноты нанесло удушливой гарью. Танки безглазыми чудовищами возникли из ночи, скрежетали гусеницами на морозе и тут же буксовали, немея в глубоком снегу. Снег пузырился, плавился под танками и на танках.

Им не было ходу назад, и все, что попадалось на пути, они крушили, перемалывали. Пушки, две уже только, развернувшись, хлестали им вдогон. С вкрадчивым курлыканьем, от которого заходило сердце, обрушился на танки залп тяжелых эрэсов, электросварочной вспышкой ослепив поле боя, качнув окоп, оплавляя все, что было в нем: снег, землю, броню, живых и мертвых. И свои, и чужеземные солдаты попадали влужку, жались друг к другу, заталкивали головы в снег, срывая ногти, по-собачьи рыли руками мерзлую землю, старались затискаться поглубже, быть поменьше, утягивали под себя ноги - и все без звука, молчком, лишь загнанный хрип слышался повсюду.

Гул нарастал.

Возле тяжелого танка ткнулся, хокнул огнем снаряд гаубицы. Танк содрогнулся, звякнул железом, забегал влево-вправо, качнул орудием, уронил набалдашник дульного тормоза в снег и, буравя перед собой живой перекатывающийся ворох, ринулся на траншею. От него, уже неуправляемого, в панике рассыпались и чужие солдаты, и русские бойцы. Танк возник, зашевелился безгласной тушей над траншеей, траки лязгнули, повернулись с

визгом, бросив на старшину, на Бориса комья грязного снега, обдав их горячим дымом выхлопной трубы. Завалившись одной гусеницей в траншею, буксуя, танк рванулся вдоль нее.

Надсаженно, на пределе завывал мотор, рубили, перемалывали мерзлую землю и все в нее вкопанные гусеницы.

- Да что же это такое? Да что же это такое? - Борис, ломая пальцы, вцарапывался в твердую щель. Старшина тряс его, выдергивал, будто суслика из норы, но лейтенант вырывался, лез занозно в землю.

- Гранату! Где граната?

Борис перестал биться, лезть куда-то, вспомнил: под шинелью на поясе у него висели две противотанковые гранаты. Он всем раздал с вечера по две и себе взял, да вот забыл про них, а старшина или утерял свои, или использовал уже. Стянув зубами рукавицу, лейтенант сунул руку под шинель - граната на поясе висела уже одна. Он выхватил ее, начал взводить чеку. Мохнаков шарил по рукаву Бориса, пытался отнять гранату, но взводный отталкивал старшину, полз на коленях, помогая себе локтями, вслед за танком, который пахал траншею, метр за метром прогрызая землю, нащупывая опору для второй гусеницы.

- Постой! Постой, курва! Сейчас! Я тебя... Сейчас! - Взводный бросал себя за танком, но ноги, ровно бы вывернутые в суставах, не держали его, он падал, запинаясь о раздавленных людей, и снова полз на коленях, толкался локтями. Он утерял рукавицы, наелся земли, но держал гранату, словно рюмку, налитую всклень, боясь расплескать ее, влаивая, плакал оттого, что не может настичь танк.

Танк ухнул в глубокую воронку, задержался в судорогах. Борис приподнялся, встал на одно колено и, ровно в чик у играя, метнул под сизый выхлоп машины гранату. Жажнуло, обдало лейтенанта снегом и пламенем, ударило комками земли в лицо, забило рот, катануло по траншее, словно зайчонка.

Танк дернулся, осел, смолк. Со звоном упала гусеница, распустилась

солдатской обмоткой. По броне, на которой с шипением таял снег, густо зачиркало пулями, еще кто-то фуганул в танк гранату. Остервенело лупили по танку ожившие бронбойщики, высекая синие всплески пламени из брони, досадуя, что танк не загорелся. Возник немец, без каски, черноголовый, в разорванном мундире, с привязанной за шею простыней. С живота строча по танку из автомата, он что-то кричал, подпрыгивал. Патроны в рожке автомата кончились, немец отбросил его и, обдирая кожу, стал колотить голыми кулаками по цементированной броне. Тут его и подсекло пулей. Ударившись о броню, немец сполз под гусеницу, подергался в снегу, и успокоенно затих. Простыня, надетая вместо маскхалата, метнулась раз-другой на ветру и закрыла безумное лицо солдата.

Бой откатился куда-то во тьму, в ночь. Гаубицы переместили огонь; тяжелые эрэсы, содрогаясь, визжа и воя, поливали пламенем уже другие окопы и поля, а те "катюши", что стояли с вечера возле траншей, горели, завязши в снегу. Оставшиеся в живых эрэсовцы смешались с пехотой, бились и погибали возле своих отстрелявшихся машин.

Впереди все таяла полковая пушчонка, уже одна. Смятая, растерзанная траншея пехотинцев вела редкий оружейный огонь, да булькал батальонный миномет трубою, и вскоре еще две трубы начали бросать мины. Обрадованно, запоздало затрещал ручной пулемет, а станковый замолчал, и бронбойщики выдохлись. Из окопов то тут, то там выскакивали темные фигуры, от низко севших плоских касок казавшиеся безголовыми, с криком, плачем бросались во тьму, следом за своими, словно малые дети гнались за мамкой.

По ним редко стреляли, и никто их не догонял.

Заполыхали в отдалении скирды соломы. Фейерверком выплескивалось в небо разноцветье ракет. И чьи-то жизни ломало, уродовало в отдалении. А здесь, на позиции взвода Костяева, все стихло. Убитых заносило снегом. На догорающих машинах эрэсовцев трещали и рвались патроны, гранаты; горячие гильзы высыпались из коптящих машин, дымились, шипели в снегу. Подбитый танк

остывшей тушей темнел над траншеей, к нему тянулись, ползли раненые, чтобы укрыться от ветра и пуль. Незнакомая девушка с подвешенной на груди санитарной сумкой делала перевязки. Шапку она обронила и рукавицы тоже, дула на коченеющие руки. Снегом запорошило коротко остриженные волосы девушки.

Надо было проверять взвод, готовиться к отражению новой атаки, если она возникнет, налаживать связь.

Старшина успел уже закурить. Он присел на корточки - его любимая расслабленная поза в минуту забвения и отдыха, смежив глаза, тянул сигарку, изредка, без интереса посматривал на тушу танка, темную, неподвижную, и снова прикрывал глаза, задремывал.

- Дай мне! - протянул руку Борис.

Старшина окурка взводному не дал, достал сначала рукавицы взводного из-за пазухи, потом уж кисет, бумагу, не глядя сунул, и когда взводный неумело скрутил сырую сигарку, прикурил, закашлялся, старшина бодро воскликнул:

- Ладно ты его! - и кивнул на танк.

Борис недоверчиво смотрел на усмиренную машину: такую громадину! Такой маленькой гранатой! Такой маленький человек! Слышал взводный еще плохо. И во рту у него была земля, на зубах хрустело, грязью забило горло. Он кашлял и отплевывался. В голову ударяло, в глазах возникали радужные круги.

- Раненых...- Борис почистил в ухе.- Раненых собирать! Замерзнут.

- Давай,- отобрал у него сигарку Мохнаков, бросил ее в снег и притянул за воротник шинели взводного ближе к себе.- Идти надо,- донеслось до Бориса, и он снова стал чистить в ухе, пальцем выковыривая землю.

- Что-то... Тут что-то...

- Хорошо, цел остался. Кто ж так гранаты бросает!

Спина Мохнакова, погоны его были обляпаны грязным снегом. Ворот полушубка, наполовину с мясом оторванный, хлопался на ветру. Все качалось перед Борисом, и этот хлопающий воротник старшины, будто доской, бил по

голове, не больно, но оглушительно. Борис на ходу черпал рукой снег, ел его, тоже гарью и порохом засоренный. Живот не остужало, наоборот, больше жгло.

Над открытым люком подбитого танка воронкой завинчивало снег. Танк остывал. Позвякивало, трескаясь, железо, больно стреляло в уши. Старшина увидел девушку-санинструктора без шапки, снял свою и небрежно насунул ей на голову. Девушка даже не взглянула на Мохнакова, лишь на секунду приостановила работу и погрела руки, сунув их под полушубок к груди.

Карышев и Малышев, бойцы взвода Бориса Костяева, подтаскивали к танку, в заветрие, раненых.

- Живы! - обрадовался Борис.

- И вы живы! - тоже радостно отозвался Карышев и потянул воздух носиком так, что тесемка развязанной шапки влетела в ноздрю.

- А пулемет наш разбило,- не то доложил, не то повинился Малышев.

Мохнаков влез на танк, столкнул в люк перевесившегося, еще вялого офицера в черном мундире, распоротом очередями, и тот загремел, будто в бочке. На всякий случай старшина дал в нутро танка очередь из автомата, который успел где-то раздобыть, осветил фонариком и, спрыгнув в снег, сообщил:

- Офицерьа наглушило! Полна утроба! Ишь как ловко: мужика-солдата вперед, на мясо, господа - под броню...- он наклонился к санинструктору: - Как с пакетами?

Та отмахнулась от него. Взводный и старшина откопали провод, двинулись по нему, но скоро из снега вытащили оборвыш и добрались до ячейки связиста наугад. Связиста раздавило в ячейке гусеницей. Тут же задавлен немецкий унтер-офицер. В щепки растерт ящичек телефона. Старшина подобрал шапку связиста, выбил из нее снег о колено и натянул на голову. Шапка оказалась мала, она старым коршуньим гнездом громоздилась на верхушке головы старшины.

В уцелевшей руке связист зажал алюминиевый штырек. Штырьки такие употреблялись немцами для закрепления палаток, нашими телефонистами - как

заземлители. Немцам выдавали кривые связистские ножи, заземлители, кусачки и прочий набор. Наши все это заменяли руками, зубами и мужицкой смекалкой. Штырьком связист долбил унтера, когда тот прыгнул на него сверху, тут их обоих и размичкало гусеницей.

Четыре танка остались на позиции взвода, вокруг них валялись полузанесенные снегом трупы. Торчали из свежих суметов руки, ноги, винтовки, термосы, противогазные коробки, разбитые пулеметы, и все еще густо чадил сгоревшие "катюши".

- Связь! - громко и хрипло выкрикнул полуглухой лейтенант и вытер нос рукавицей, заледенелой на пальце.

Старшина и без него знал, что надо делать. Он скликал тех, кто остался во взводе, отрядил одного бойца к командиру роты, если не сыщется ротного, велел бежать к комбату.

Из подбитого танка добыли бензин, плескали его на снег, жгли, бросая в костер приклады разбитых винтовок и автоматов, трофейное барахло. Санинструкторша отогрела руки, прибралась. Старшина принес ей меховые офицерские рукавицы, дал закурить. Перекурив и перемолвившись о чем-то с девушкой, он полез в танк, пошарил там, освещая его фонариком, и завопил, как из могилы:

- Е-е-эсть!

Побулькивая алюминиевой флягой, старшина вылез из танка, и все глаза устремились на него.

- По глотку раненым! - обрезал Мохнаков.- И... немножко доктору,- подмигнул он санинструкторше, но она никак не ответила на его щедрость и весь шпанс разделила по раненым, которые лежали на плащ-палатках за танком. Кричал обгорелый водитель "катюши". Крик его стискивал душу, но бойцы делали вид, будто ничего не слышат.

Раненный в ногу сержант попросил убрать немца, который оказался под ним,- студено от мертвого. Выкатили на верх траншеи окоченного фашиста.

Кричащий его рот был забит снегом. Растолкали на стороны, новытаскивали из траншеи и другие трупы, соорудили из них бруствер - защиту от ветра и снега, над ранеными натянули козырек из плащ-палаток, прикрепив углы к дулам винтовок. В работе немного согрелись. Хлопались железно плащ-палатки под ветром, стучали зубами раненые; и, то затихая в бессилии, то вознося отчаянный крик до неизвестно куда девшегося неба, мучался водитель. "Ну что ты, что ты, браток?" - не зная, чем ему помочь, утешали водителя солдаты.

Одного за другим посылали бойцов в батальон, никто из них не возвращался. Девушка отозвала Бориса в сторону. Пряча нос в спекшемся от мороза воротнике телогрейки, она стучала валенком о валенок и смотрела на потрепанные рукавицы лейтенанта. Помедлив, он снял рукавицы и, наклонившись к одному из раненых, натянул их на охотно подставленные руки.

- Раненые замерзнут,- сказала девушка и прикрыла распухшими веками глаза. Лицо ее, губы тоже распухли, багровые щеки ровно бы присыпаны отрубями - потрескалась кожа от ветра, холода и грязи.

Уже невнятно, будто засыпая с соской во рту, вхлипывал обожженный водитель.

Борис засунул руки в рукава, виновато потупился.

- Где ваш санинструктор? - не открывая глаз, спросила девушка.

- Убило. Еще вчера.

Водитель смолк. Девушка нехотя расклеила веки. Под ними слоились, затемняя взгляд, недвижные слезы. Борис догадался, что девушка эта из дивизиона эрэсовцев, со сгоревших машин. Она, напрягшись, ждала - не закричит ли водитель, и слезы из глаз ее откатились туда, откуда возникли.

- Я должна идти.- Девушка поежилась и постояла еще секунду-другую, вслушиваясь. - Нужно идти, - взбадривая себя, прибавила она и стала карабкаться на бруствер траншеи.

- Бойца!.. Я вам дам бойца.

- Не надо,- донеслось уже издали.- Мало народу. Вдруг что.

Спустя минуту Борис выбрался из траншеи. Срывая с глаз рукавом настывшее мокро, пытался различить девушку во тьме, но никого и нигде уже не было видно.

Косыми полосами шел снег. Хлопья сделались белей, липучей. Борис решил, что метель скоро кончится: густо повалило - ветру не пробиться. Он возвратился к танку, постоял, опершись на гусеницу спиной.

- Карышев, Малышев, собирайте все в костер! - угрюмо распорядился лейтенант и тише добавил:- Раздевайте убитых, чтобы накрыть, - показал он взглядом на раненых,- и рукавицы мне где-нибудь найдите. Старшина! Боевое охранение как?

- Выставил.

- К артиллеристам бы сходить. Может, у них связь работает?

Старшина нехотя поднялся, затянул туже полушубок и поволокся к пушчонкам, что так стойко сражались ночью. Вернулся скоро.

- Одна пушка осталась и четыре человека. Тоже раненые. Снарядов нет.- Мохнаков охлопал снег с воротника полушубка и только сейчас удивленно заметил, что он оторван.- Прикажете - артиллеристов сюда? - прихватывая ворот булавкой, спросил он.

Борис кивнул. И те же Малышев и Карышев, которым износу не было, двинулись за старшиной.

Раненых артиллеристов перетащили в траншею. Они обрадовались огню и людям, но командир орудия не ушел с боевой позиции, попросил принести ему снарядов от разбитых пушек.

Так, без связи, на слухе и нюхе, продержались до утра. Как привидения, как нежити, появлялись из темноты раздерганными группами заблудившиеся немцы, но, завиден русских, подбитые танки, чадящие машины, укатывались куда-то, пропадали навечно в сонно укутывающей все вокруг снежной мути.

Утром, уже часов около восьми, перестали ухать сзади гаубицы. Смолкли орудия слева и справа. И впереди унялась пушчонка, звонко ударив последний

раз. Командир орудия или расстрелял поднесенные ему от других орудий снаряды, или умер у своей пушки. Внизу, в пойме речки или в оврагах, догадался Борис, не унимаясь бухали два миномета, с вечера было их там много; стучали крупнокалиберные пулеметы; далеко куда-то, по неведомым целям начали бить громогласно и весомо орудия большой мощности. Пехота уважительно примолкла, да и огневые точки переднего края одна за другой стали смущенно свертывать стрельбу; рявкнув на всю округу отлаженным залпом, редкостные орудия (знатоки уверяли, что в дуло их может запросто влезть человек!), тратящие больше горючего в пути, чем пороху и снарядов в боях, высокомерно замолчали, но издалека долго еще докатывались толчки земли, звякали солдатские котелки на поясах от содрогания. Но вот совсем перестало встряхивать воздух и снег. Дрожь под ногами и в ногах унялась. Снег оседал, лепился уже без шараханья, валил обрадованно, сплошно, будто висел над землей, копился, дожидаясь, когда стихнет и уймется внизу огненная стихия.

Тихо стало. Так тихо, что солдаты начали выпрастываться из снега, сдвигать шапки с уха, оглядываться недоверчиво.

- Все?! - спросил кто-то.

"Все!" - хотел закричать Борис, но долетела далекая дробь пулемета, чуть слышные раскаты взрывов пробурчали летним громом.

- Вот вам и все! - буркнул взводный.- Быть на месте! Проверить оружие!

- А-а-а-аев!.. А-я-а-аев! Голос приближался.

- Ан-ан... Ая-я-аяев...

- Вроде вас кличут? - наострил тонкое и уловчивое ухо бывший командир колхозной пожарки, ныне рядовой стрелок Пафнутьев, и заорал, не дожидаясь разрешения: - О-го-го-о-о-о! - грелся Пафнутьев криком.

И только он кончил орать и прыгать, как из снега возник солдат с карабином, упал возле танка, занесенного снегом уже до борта. Упал на остывшего водителя, пощупал, отодвинулся, вытер с лица мокро.

- У-уф! Ищу, ищу! Чего ж не откликаетесь-то?

- Ты бы хоть доложил...- заворчал Борис и вытащил руки из карманов.

- А я думал, вы меня знаете! Связной ротного,- отряхивая рукавицы, удивился посыльный.

- С этого бы и начинал.

- Немцев расхлопали, а вы тут сидите и ничего не знаете! - забывая неловкость, допущенную им, затараторил солдат.

- Кончай травить! - осадил его старшина Мохнаков.- Докладывай, с чем пришел, угощай трофеейной, коли разжился.

- Значит, вас, товарищ лейтенант, вызывают. Ротным вас, видать, назначат. Ротного убило у соседей.

- А мы, значит, тут? - сжал синие губы Мохнаков.

- А вы, значит, тут,- не удостоил его взглядом связной и протянул кисет: - Во! Наш саморуб-мордovorот! Лучше греет...

- Пошел ты со своим саморубом! Меня от него... Ты девку в поле нигде не встречал?

- Не-е. А чо, сбегла?

- Сбегла, сбегла. Замерзла небось девка.- Мохнаков скользнул по Борису укoризненным взглядом.- Отпустили одну...

Натягивая узкие мазутные рукавицы, должно быть, с покойного водителя, плотнее подпоясываясь, Борис сдавленно проговорил:

- Как доберусь до батальона, первым делом пришло за ранеными.- И, стыдась скрытой радости оттого, что он уходит отсюда, Борис громче добавил, приподняв плащ-палатку, которой были накрыты раненые: - Держитесь, братцы! Скоро вас увезут.

- Ради бога, похлопочи, товарищ лейтенант. Холодно, мочи нет.

Борис и Шкалик брели по снегу без пути и дороги, полагаясь на нюх связного. Нюх у него оказался никудышным. Они сбились с пути, и, когда пришли в расположение роты, там уже никого не было, кроме сердитого связиста с расцарапанным носом. Он сидел, укpившись плащ-палаткой, точно бедуин в

пустыне, и громко крыл боевыми словами войну, Гитлера, но пуще всех своего напарника, который уснул на промежуточной точке,- телефонист посадил батарейки в аппарате, пытаюсь разбудить его зуммером.

- Во! Еще лунатики объявились! - с торжеством и злостью заорал связист, не отнимая пальца от осой ноющего зуммера.- Лейтенант Костяев, что ль? - и, получив утвердительный ответ, нажал клапан трубки:- Я сматываюсь! Доложи ротному. Код? Пошел ты со своим кодом. Я околел до смерти...- продолжая лаяться, связист отключал аппарат и все повторял: - Ну, я ему дам! Ну, я ему дам! - вынул из-под зада котелок, на котором он сидел, охнул, поковылял по снегу отсиженными ногами.- За мной! - махнул он. Резво треща катушкой, связист сматывал провод, озверело пер вперед, на промежуточную, чтобы насладиться мстостью; если напарник не замерз, пнуть его как следует.

Командир роты разместился за речкой, на окраине хутора, в бане. Баня сложена по-черному, с каменкой,- совсем уж редкость на Украине. Родом из семиреченских казаков, однокашник Бориса по полковой школе, комроты Филькин, фамилия которого была притчей во языцех и не соответствовала его боевому характеру, приветливо, даже чересчур приветливо встретил взводного.

- Здесь русский дух! - весело гаркнул он.- Здесь баней пахнет! Помоемся, Боря, попаримся!..- был он сильно возбужден боевыми успехами, может, хватил уже маленько горячительного, любил он это дело.

- Во, война, Боря! Не война, а хреновина одна. Немцев сдалось - тучи. Прямо тучи. А у нас? - прищелкнул он пальцем.- Вторая рота почти без потерь: человек пятнадцать, да и те блудят небось либо дрыхнут у хохлуш, окаянные. Ротного нет, а за славянами глаз да глаз нужен...

- А нас попарили! Половина взвода смята. Раненых надо вывозить.

- Да-а? А я думал, вас миновало. В стороне были... Но отбился же,- хлопнул Филькин по плечу Бориса и приложился к глиняному жбану с горлышком. У него перебило дух. Он покрутил восторженно головой.- Во напиток! Стенолаз! Тебе не дам, хоть ты и замерз. Раненых выносить будем, обоз не знаю где, а

ты, Боря, на время пойдешь вместо... Знаю, знаю, что обожаешь свой взвод. Скромный, знаю. Но надо. Вот гляди сюда! - Филькин раскрыл планшетку и начал тыкать в карту пальцем. С отмороженного брюшка пальца сходила кожа, и кончик его был красненький и круглый, что редиска.- Значит, так: хутор нашими занят, но за хутором, в оврагах и на поле, между хуторами и селом,- большое скопление противника. Предстоит добивать. Без техники немец, почти без боеприпасов, полудохлый, а черт его знает! Отчаялись. Значит, пусть Мохнаков снимает взвод, а сам крой выбирать место для воинства. Я подтяну туда все, что осталось от моей роты. Действуй! Береги солдат, Боря! До Берлина еще далеко!..

- Раненых убери! Врача пошли. Самогонку отдай,- показал Борис на жбан с горлышком.

- Ладно, ладно,- отмахнулся комроты.- Возьму раненых, возьму,- и начал звонить куда-то по телефону. Борис решительно забрал посудину с самогонкой и, неловко прижимая ее к груди, вышел из бани.

Отыскав Шкалика, он передал ему посудину и приказал быстро идти за взводом.

- Возле раненых оставьте кого-нибудь, костер жгите,- наказывал он,- да не заблудись.

Шкалик засунул в мешок посудину, надел винтовку за спину, взмахнул рукавицей у виска и нехотя побрел через огороды.

Занималось утро, но, может, сделалось светлее оттого, что утихла метель. Хутор занесен снегом по самые трубы. Возле домов стояли с открытыми люками немецкие танки, бронетранспортеры. Иные дымились еще. Болотной лягушкой расшеперилась на дороге легковая машина, из нее расплывалось багрово-грязное пятно. Снег был черен от копоти. Всюду воронки, комья земли, раскиданные взрывами. Даже на крыши набросана земля. Плетни везде свалены; немногие хаты и сараи сворочены танками, побиты снарядами. Воронье черными лохмами возникало и кружилось над оврагами, молчаливое, сосредоточенное.

Воинская команда в заношенном обмундировании, напевая, будто на сплаве, сталкивала машины с дороги, расчищая путь технике. Горел костерок возле хаты, возле него грелись пожилые солдаты из тыловой трофейной команды. И пленные тут же у огня сидели, несмело тянули руки к теплу. На дороге, ведущей к хутору, темной ломаной лентой стояли танки, машины, возле них прыгали, толкались экипажи. Хвост колонны терялся в еще не осевшей снежной мути.

Взвод прибыл в хутор быстро. Солдаты потянулись к огонькам, к хатам. Отвечая на немой вопрос Бориса, старшина живо доложил:

- Девка-то, санинструкторша-то, трофейной повозки где-то надыбала, раненых всех увезла. Эрэсовцы - не пехота - народ союзный.

- Ладно. Хорошо. Ели?

- Чо? Снег?

- Ладно. Хорошо. Скоро тылы подтянутся.

Согревшиеся в быстром марше солдаты уже смекали насчет еды. Варили картошку в касках, хрумкали трофейные галеты, иные и разговелись маленько. Заглядывали в баню, принохивались. Но пришел Филькин и прогнал всех, Борису дал нагоняй ни за что ни про что. Впрочем, тут же выяснилось, отчего он вдруг озверел.

- За баней был? - спросил он.

- Нет.

- Сходи.

За давно не топленной, но все же угарно пахнувшей баней, при виде которой сразу зачесалось тело, возле картофельной ямы, покрытой шалашиком из будылья, лежали убитые старик и старуха. Они спешили из дому к яме, где, по всем видам, спасались уже не раз сперва от немецких, затем от советских обстрелов и просиживали подолгу, потому что старуха прихватила с собой мочальную сумку с едой и клубком толсто наряденной пестрой шерсти. Залп вчерашней артподготовки прижал их за баней - тут их и убило.

Они лежали, прикрывая друг друга. Старуха спрятала лицо под мышку старику. И мертвых, било их осколками, посекло одежонку, выдрало серую вату из латаных телогреек, в которые оба они были одеты. Артподготовка длилась часа полтора, и Борис, еще издали глядя на густое кипение взрывов, подумал: "Не дай бог попасть под это такое столпотворение..."

Из мочальной сумки выкатился клубок, вытащив резинку начатого носка со спицами из ржавой проволоки. Носки из пестрой шерсти на старухе, и эти она начала, должно быть, для старика. Обута старуха в калоши, подвязанные веревочками, старик - в неровно обрезанные опорки от немецких сапог. Борис подумал: старик обрезал их потому, что взъёмы у немецких сапог низки и сапоги не налезали на его большие ноги. Но потом догадался: старик, срезая лоскутья с голенищ, чинил низы сапог и постепенно добрался до взъёма.

- Не могу... Не могу видеть убитых стариков и детей,- тихо уронил подошедший Филькин.- Солдату вроде бы как положено, а перед детьми и стариками...

Угрюмо смотрели военные на старика и старуху, наверное, живших по-всякому: и в ругани, и в житейских дрязгах, но обнявшихся преданно в смертный час.

Бойцы от хуторян узнали, что старики эти приехали сюда с Поволжья в голодный год. Они пасли колхозный табун. Пастух и пастушка.

- В сумке лепехи из мерзлых картошек,- объявил связной комроты, отнявши сумку из мертвых рук старухи, и начал наматывать нитки на клубок. Смотал, остановился, не зная, куда девать сумку.

Филькин длинно вздохнул, поискал глазами лопату и стал копать могилу. Борис тоже взял лопату. Но подошли бойцы, больше всего не любящие копать землю, возненавидевшие за войну эту работу, отобрали лопаты у командиров.

Щель вырыли быстро. Попробовали разнять руки пастуха и пастушки, да не могли и решили - так тому и быть. Положили их головами на восход, закрыли горестные, потухшие лица: старухино - ее же полушалком, с реденькими

висюльками кисточек, старика - ссохшейся, как слива, кожаной шапчонкой.

Связной бросил сумку с едой в щель, и принялся кидать лопатой землю.

Зарыли безвестных стариков, прихлопали лопатами бугорок, кто-то из солдат сказал, что могила весной просядет - земля-то мерзла со снегом, и тогда селяне, может быть, перехоронят старика со старухой. Пожилой долговязый боец Ланцов прочел над могилой складную, тихую молитву: "Боже правый духов, и всякия плоти, смерть поправый и диавола упраздливший, и живот миру твоему дарованный, сам, Господи, упокой душу раба твоего... рабов твоих",- поправился Ланцов.

Солдаты притихли, все кругом притихло, отчего-то побледнел, подобрался старшина Мохнаков. Случайно и огород забредший славянин с длинной винтовкой на спине начал было любопытствовать: "А чо тут?" - но старшина так на него зашипел и такой черный кулак поднес ему, что тот сразу смолк и скоро упятился за ограду.

Часть вторая. СВИДАНИЕ

И ты пришла, заслышав ожиданье... *Я. Смеляков*

Солдаты пили самогонку.

Пили торопливо, молча, не дожидаясь, когда сварится картошка. Пальцами доставали прокисшую капусту из глечика, хрустели, крякали и не смотрели друг на друга.

Хозяйка дома, по имени Люся, пугливо смотрела в сторону солдат, подкладывала сухие ветви акаций и жгуты соломы в печь, торопилась доварить картошку. Корней Аркадьевич Ланцов, расстилавший солому на полу, выпрямился, отряхнул ладонями штаны, боком подсел к столу:

- Налейте и мне.

Борис сидел у печки, грелся и отводил глаза от хозяйки, возившейся рядом, старшина Мохнаков поднял с пола немецкую канистру, налил полную кружку, подsunул ее Ланцову и криво шевельнул углом рта:

- Запыживай, паря!

Корней Аркадьевич суетливо оправил гимнастерку, будто нырять в прорубь собрался, судорожно дергаясь, всхлипывая, вытянул самогонку и какое-то время сидел оглушенный. Наконец наладилось дыхание, и Ланцов жалко пролепетал, убирая пальцем слезу:

- Ах, господи!

Скоро, однако, он приглушил застенчивость, оживился, пытаясь заговорить с солдатами, со старшиной. Но те упорно молчали и глушили самогонку. В избе делалось все труднее дышать от табачного дыма, стойкого запаха затхлой буряковой самогонки и гнетущего ожидания чего-то худого.

"Хоть бы сваливались скорее,- с беспокойством подумал взводный,- а то уже и жутко даже..."

- Вы тоже выпили бы,- обратился к нему Корней Аркадьевич,- право, выпили бы... Оказывается, помогает...

- Я дождусь еды,- отвернулся к печи Борис и стал греть руки над задымленным шестком. Труба тянула плохо, выбрасывала дым. Видать, давно нет мужика в доме.

Неустойчиво все во взводном, в голове покачивается и звенит еще с ночи. Разбил он однажды сапоги до того, что остались передки с голенищами. Подвязал их проволокой, но когда простыл и ходить вовсе не в чем сделалось, стянул сапоги с такого же, как он, молоденького лейтенанта, полегшего со взводом в балке. Стянул, надел - у него непереносимо, изводно стыли ноги в этих сапогах, и он поскорее сменял их.

Теперь вот у него такое ощущение, будто весь он в сапоге, стянутом с убитого человека.

- Промерзли?-спросила хозяйка.

Он потер виски ладонью, приостановил в себе обморочную качку, взглянул на нее осмысленно. "Есть маленько",- хотелось сказать ему, но он ничего не сказал, сосредоточил разбитое внимание на огне под таганком.

По освещенному огнем лицу хозяйки пробежали тени. И было и ее маленьком лице что-то как будто недорисованное, было оно подкопчено лампадкой или лучиной, проступали отдельные лишь черты лика. Хозяйка чувствовала на себе пристальный, украдчивый взгляд и покусывала припухшую нижнюю губу. Нос ее, ровный, с узенькими раскрылками, припачкан сажей. Овсяные, как определяют в народе, глаза, вызревшие в форме овсяного зерна, прикрыты кукольно загнутыми ресницами. Когда хозяйка открывала глаза, из-под ресниц этих обнажались темные и тоже очень вытянутые зрачки. В них метался отсвет огня, глаза в глубине делались переменчивыми: то темнели, то высветлялись и жили отдельно от лица. Но из загадочных, как бы перенесенных с другого, более крупного лица, глаз этих не исчезало выражение покорности и устоявшейся печали. Еще Борис заметил, как беспокойны руки хозяйки. Она все время пыталась и не могла найти им места.

Солома прогорела. Веточки акаций лежали горкой раскаленных гвоздиков, от них шел сухой струйный пар. Рот хозяйки чуть приотворился, руки успокоились у самого горла. Казалось, спугни ее - и она, вздрогнув, уронит руки, схватится за сердце.

- Может быть, сварилась? - осторожно дотронулся до локтя хозяйки Борис.

- А? - хозяйка отпрянула в сторону.- Да, да, сварилась. Пожалуй, сварилась. Сейчас попробуем.- Произношение не украинское, и ничего в ней не напоминало украинку, разве что платок, глухо завязанный, да передник, расшитый тесьмою. Но немцы всех жителей, и в первую голову женщин, научили здесь затеняться, прятаться, бояться.

Люся выдвинула кочергой чугуна на край припечка, ткнула пальцем в картофелину, затрясла рукой. Сунула палец в рот. Получилось по-детски смешно

и беззащитно. Борис едва заметно улыбнулся.

Прихватив чугунок чьей-то портянкой, он отлил горячую воду в лохань, стоявшую в углу под рукомойником. Из лохани ударило тяжелым паром. Хозяйка вынула палец изо рта, спрятала руку под передник. Потерянно и удивленно наблюдала за действиями командира.

- Вот теперь налейте и мне,- поставив чугунок на стол, произнес лейтенант.

- Да ну-у-у? - громко удивился Мохнаков.- К концу войны, глядишь, и вы с Корнеем обстреляетесь! - подкова рта старшины разогнулась чуть ли не до подбородка, выражая презрение, может, брезгливое многозначие или еще какие-то скрытые неприязненные чувства, которыми полнился старшина всякий раз, когда пьянел. Вновь его обуревал кураж - так называется это на родимой сторонке взводного и помкомвзвода в Сибири.

Борис не смотрел на старшину, лишь сердито двинул в бок Шкалика:

- Подвинься-ка!

Шкалик ужаленно подскочил и чуть не свалился со скамейки.

- Напоили мальчишку! - Борис не обращался ни к кому, но старшина его слышал, внимал, поднял глаза к потолку, не переставая кривить рот в усмешке.- Садитесь, пожалуйста,- позвал Борис Люсю, одиноко прижавшуюся спиной к остывшему шестку и все прячущую руку под передником.

- Ой, да что вы! Кушайте, кушайте! - почему-то испугалась хозяйка и стала суетливо шарить по платку, по груди, ускользя глазами от взгляда Мохнакова, вдруг в нее уставившегося.

- Н-не, девка, не отказывайся,- распевно завел Пафнутьев,- не моргуй солдатской едой. Мы худого тебе не сделаем. Мы...

- Да хватит тебе! - Борис похлопал рукой по скамейке, с которой услужливо сошел Пафнутьев.- Я вас очень прошу.

- Хорошо, хорошо! - Люся как бы застыдилась, что ее упрашивают, лейтенант даже на солдата рассердился почему-то.- Я сейчас, одну минутку...

Она исчезла в чистой половине, прикрытой створчатой дверью, и скоро возвратилась оттуда без платка, без передника. У нее была коса, уложенная на затылке. Легкий румянец выступил на бледном лице ее. Не ко времени и не к месту она тут, среди грязных, мятых и сердитых солдат, думалось ей. Она стеснялась себя.

- Напрасно вы здесь расположились,- скованно заговорила она и пояснила Борису: - Просила, просила, чтоб проходили туда,- махнула она на дверь в чистую половину.

- Давно не мылись мы,- сказал Карышев, а его односельчанин и кум Малышев добавил:

- Натрясем трофеев.

- Вот уж намоемся, отстираемся, в порядок себя приведем...- завел напевно Пафнутьев.

- Тогда и в гости пожалуем,- подхватил Мохнаков, подмигивая всему застолью разом, с форсом без промаха разливай всем поровну, и Люсе тоже, убойно пахнущее зелье. Он первый громко, как бы с дружеским вызовом звякнул гнутой алюминиевой кружкой о стакан, из деликатности оставленный Люсе. И все солдаты забренчали посудинами, смешанно произнесли привычное: "Будем здоровы!", "Со свиданьем!" и так далее. Люся подождала с поднятым стаканом, не скажет ли чего командир. Он ничего не говорил.

- С возвращением вас...- потупившись, вымолвила хозяйка в ответ и отвернулась к печке, часто заморгав.- Мы так вас долго ждали. Так долго...- Она говорила с какой-то покаянностью, словно виновата была в том, что так долго пришлось ждать. Отчаянно, в один дух, Люся выпила самогонку и закрыла ладошкой рот.

- Вот это - по-нашенски! Вот видно, что рада! - загудел Карышев и потянулся к ней с американской колбасой на складнике, с наспех ободранной картофелиной. Шкалик хотел опередить Карышева, да уронил картошку. Ему в ширинку накрошилось горячее, он забился было, но тут же испуганно сжался.

Взводный с досадой отвернулся. Шкалик стряхнул горячее в штанину, ему сделалось лучше.

Человек этот, Шкалик, был непьющий. Еще Борис и Корней Аркадьевич непьющие. Оттого чувствовали они себя бросовыми людьми и не такими прочными бойцами, как все остальное воинство, которое хотя тоже большей частью пило "для сугрева", но как-то умело внушить свою полную отчаянность и забубенность. Вообще мужик наш, русский мужик, очень любит нагонять на себя отчаянность, а посему и привирает подчас насчет баб и выпивки. Пил сильно, но упорно не пьянел лишь старшина, добывая где-то, даже в безлюдных местах, горячку всяких видов, и возле него всегда крутился услужливый, падкий на дармовщину, кум-пожарник Пафнутьев. Малышев и Карышев пивали редко, зато уж обстоятельно. Получая свои сто граммов, они сливали их во флягу и, накопив литр, а то и более, дождавшись благой, затишной минуты, устраивались на поляне, либо в хате какой, неторопливо пили, чокаясь друг с другом, и ударялись в воспоминания, "советовались", как объясняли они свои эти беседы.

Потом пели - Карышев басом, Малышев дискантом:

За ле-есом солнце зы-ва-сия-а-а-ало,

Гы-де черы-най во-е-еора-а-ан про-кы-ричи-ал.

Пы-рошли часы, пы-рошли мину-уты,

Ковды-ы зы-девче-е-онкой я-а-а гуля-а-ал...

- Откель будешь, дочка? - лез с вопросами к Люсе любящий всех людей на свете Карышев, раскрасневшийся от выпивки.- По обличью и говору навроде расейская? - И Малышев собирался вступить в разговор, но взводный упредил его:

- Дай человеку поесть.

- Да я могу есть и говорить.- Люся радовалась, что солдаты сделались ближе и доступней. Один лишь старшина ощупывал ее потаенным взглядом. От этого все понимающего, налитого тяжестью взгляда ей все больше и больше становилось не по себе.- Я не здешняя.

- А-а. То-то я гляжу: обличие... Не чалдонка случаем? - все больше
мягчея лицом, продолжал расспрашивать Карышев.

- Не знаю.

- Вот те раз! Безродная что ли?

- Ага.

- А-а. Тогда иное дело. Тогда конечно... Судьба, она, брат, такое может
с человеком сотворить...

Взводный души не чаял в этих двух алтайцах-кумовьях, которые родились,
жили и работали в самой красивой на свете, по их заверению, алтайской
деревне Ключи. Не сразу понял и принял этих солдат Борис. Поначалу, когда
пришел во взвод, казались они ему тупицами, он даже раздражался, слушая
подковырки и насмешки их друг над другом. Карышев был рыжий. Малышев -
лысый. Эти-то два отличия они и использовали для шуток. Стоило снять
Карышеву пилотку, как Малышев начинал зудеть: "Чего разболочся? Взбредет в
башку германцу, что русский солдат картошку варит на костре,- и зафитилит из
орудия!" Карышев срывал пучок травы и бросал на лысину Малышеву: "Блестишь
на всю округу! Фриц усекет - миномет тута - и накроет!" Солдаты впокат
валились, слушая перебранку алтайцев, а Борис думал: "До чего же отупеть
надо, чтобы радоваться таким плоским, да и неловким для пожилых людей
насмешкам". Но постепенно привык он к людям, к войне, стал их видеть и
понимать по-другому, ничего уже низкого в неуклюжих солдатских шутках и
подковырках не находил. Воевали алтайцы, как работали, без суеты и злобы.
Воевали по необходимости, да основательно. В "умственные" разговоры
встревали редко, но уж если встревали - слушай.

Как-то Карышев срубил под корень Ланцова, вставшего в рассуждения насчет
рода людского: "Всем ты девицам по серьгам отвесил: и ученым, и
интеллигентам, и рабочим в особенности, потому как сам из рабочих, главнее
всех сам себе кажешься. А всех главнее на земле - крестьянин-хлебороб. У
него есть все: земля! У него и будни, и праздники - в ней. Отбирать ему ни у

кого ничего не надобно. А вот у крестьянина отвеку норовят отнять хлеб. Германец, к слову, отчего воюет и воюет? Да оттого, что крестьянствовать разучился и одичал без земляной работы. Рабочий класс у него машины делает и порох. А машины и порох жрать не будешь, вот он и лезет всюду, зорит крестьянство, землю топчет и жгет, потому как не знает цену ей. Его бьют, а он лезет. Его бьют, а он лезет!"

Карышев сидел нынче за столом широко, ел опрятно и с хитровой мудрецом поглядывал на Корнея Аркадьевича. Гимнастерку алтаец расстегнул, пояс отвязал, был широк и домовит. Картошку он чистил брюшками пальцев, раздевши ее, незаметно подсовывал Люсе и Шкалику. Совсем уж пьяный был Шкалик, шатался на скамейке, ничего не ел. Нес капусту в рот, да не донес, всю на гимнастерку развесил. Карышев потрянул на нем гимнастерку, ленточки капусты сбросил на пол. Шкалик тупо следил за его действиями и вдруг ни с того ни с сего ляпнул:

- А я из Чердынского району!..

- Ложился бы ты спать, из Чердынского району - заворчал отечески Карышев и показал Шкалику на солому.

- Не верите? - Шкалик жалко, по-ребячьи лупил глаза. Да и был он еще парнишкой - прибавил себе два года, чтобы поступить в ремесленное училище и получать бесплатное питание, а его цап-царап в армию, и загремел Шкалик на фронт, в пехоту.

- Есть такое место на Урале,- продолжал настаивать Шкалик, готовый вспылить или заплакать.- Там, знаете, какие дома?!

- Большие! - хмыкнул Пафнутьев, мужичонка прицепистый, всем недовольный оттого, что с хорошей службы слетел. Состоял он при особом отделе армии, но одного, осужденного в штрафную, до ветру отпустил, тот взял да в село ушел, гимнастерку променял, сапоги, пьяный и босой возвратился. За потерю бдительности Пафнутьев и оказался на передовой.

- Ры-разные, а не большие,- поправил его Шкалик,- и что тебе наличники,

и что тебе ворота - все из... изрезанные, изукрашенные. И еще там купец жил
- рябчиками торговал... Ми... мильены нажил...

- Он не дядей тебе случайно приходился? - продолжал расспрашивать
Пафнутьев, и Люся почувствовала: не по-хорошему он парнишку подъедает.
Шкалик ничего разобрать не мог, охотно беседовал.

- Не-е, мой дядя конюхом состоит.

- А тетя - конюшихой?

- Тетя? Тетя конюшихой. Смеетесь, да? - Шкалик прошелся по застолью
убитыми горем глазами, часто захлопал прямыми и белыми, как у поросенка,
ресницами.- У нас писатель Решетников жил! - звонко закричал Шкалик и
стукнул кулачишком по столу.- "Подлиповцы" читали? Это про нас...

- Читали, читали...- начал успокаивать его Корней Аркадьевич.- Пила и
Сысойка, девка Улька, которую живьем в землю закопали... Все читали.
Пойдем-ка спать. Пойдем баиньки.- Он подхватил Шкалика, поволок его в угол
на солому.- До чего ты ржавый, крючок! - бросил он Пафнутьеву.

- Во! - кричал Шкалик.- А они не верят! У нас еще коней разводили!..

Графья Строгановы...

- И откуль в таком маленьком человеке столько памяти? - развел руками
Пафнутьев.

- Хватит! - прикрикнул Борис.- Дался он вам...

- Я серьезно...

Все в Борисе одрябло, даже голос, в паутинистом сознании путались
предметы, лица солдат, ровно бы выцветшие, подернутые зыбкой пеленой. Сонная
тяжесть давила на веки, расслабляла мускулы, даже руками двигать было
тяжело. "Уходилса,- вяло подумал Борис.- Больше не надо выпивать..." Он
начал есть капусту с картошкой, попил холодной воды и почувствовал себя
тверже.

Старшина покуривал, пуская дым в потолок, и все так же отдаленно
улыбался, кривя угол рта.

- Извините,- сказал хозяйке Борис, как бы проснувшись, и пододвинул к ней банку с американской колбасой. Он все время ловил на себе убегающий взгляд ласковых, дальним скользящим светом осиянных глаз. Будто со старой иконы или потертого экрана появились, ожили глаза и, то темнело, то прояснялось лицо женщины.- Держу при себе, как ординарца, хотя он мне и не положен,- пояснил Борис насчет Шкалика, чтобы хоть о чем-то говорить и не паяльться на хозяйку.- Горе мне с ним: ни починиться, ни сварить... и все теряет... В запасном полку отощал, куриной слепотой заболел.

- Зато мягкосердечный, добренький зато,- неожиданно вставил Мохнаков, все глядя в потолок и как бы ни к кому обращаясь. Взгляд и лицо Мохнакова совсем затяжелели. А в горле появилась ржа. Помкомвзвода почему-то недобро подъедал взводного. Солдаты насторожились - этого еще не было. Старшина, будто родимый тятя, опекал и берег лейтенанта. И вот что-то произошло между ними. Ну произошло и произошло, разбирайтесь потом, а сейчас-то в этой хате, при такой молодой и ладной хозяйке, после ночного побоища всем хотелось быть добрыми, хорошими. Ланцов, Карышев, Малышев, даже Пафнутьев с укором взирали на своих командиров.

Борис не отозвался на выпад старшины и не прикасался больше к кружке с самогонкой, хотя солдаты и насылались с выпивкой, зная, что чарка всегда была верным орудием в примирении людей. Даже Ланцов разошелся и пьяно лип с просьбой выпить.

Родом Ланцов из Москвы. В детстве на клиросе пел, потом под давлением общественности к атеистически настроенному пролетариату присоединился, работал корректором в крупном издательстве, где, не жалея времени и головы, прочел без разбора множество всяческой литературы, отчего привержен сделался к пространным рассуждениям.

- Ах, Люся, Люся! - схватившись за голову, долговязо раскачивался Ланцов и артистично замирал, прикрывая глаза.- Что мы повидали! Что повидали! Одной ночи на всю жизнь хватит...

"Прямо как на сцене,- морщился Борис.- Будто он один насмотрелся".

Пересиливая раздражение, Борис положил руку на плечо солдата:

- Корней Аркадьевич! Ну что вы, ей-богу! Давайте о чем-нибудь другом.

Споемте? - нашелся взводный.

Звенит зва-янок насче-от па-верки-и-и,

Ланцов из за-я-амка у-ю-бежа-а-а-ал...-

охотно откликнувшись, заорал Пафнутьев. Но Корней Аркадьевич прикрыл его рот сморщенной ладонью.

- Насчет Ланцова потом. Говорить хочу. Я долго молчал. Я все думал, думал и молчал.- Взводный чуть заметно улыбнулся солдатам: пусть, мол, потешится человек.- Я сегодня думал. Вчера молчал. Думал. Ночью, лежа в снегу, думал: неужели такое кровопролитие ничему не научит людей? Эта война должна быть последней! Или люди недостойны называться людьми! Недостойны жить на земле! Недостойны пользоваться ее дарами, жрать хлеб, картошку, мясо, рыбу, коптить небо. Прав Карышев, сто раз прав, одна истина свята на земле - материнство, рождающее жизнь, и труд хлебопашца, вскармливающий ее...

Что-то раздражало сегодня лейтенанта, все и все раздражали, но Ланцов с его рассуждениями в особенности. И хотя Борис понимал, что пора уже всем отдыхать и самого на сон ведет, он все же подзадорил доморощенного философа в завшивленной грязной гимнастерке, заросшего реденькой, сивой бородой псаломщика:

- Так. Земля. Материнство. Пашня. Все это вещи достойные, похвальные.-

Борис заметил, как начали переглядываться, хмыкать бойцы: "Ну, снова началось!" - но остановить себя уже не мог. "Неужто я так захмелел?.." - но его несло. Отличником в школе он не был, однако многие прописные истины выучил наизусть: - Ну а героизм? То самое, что вечно двигало человека к подвигам, к совершенству, к открытиям?

- Героизм! Подвиги! Безумству храбрых поем мы песню! - с криком вознес

руки к потолку Ланцов.- Не довольно ли безумства-то? Где граница между подвигом и преступлением? Где?! Вон они, герои великой Германии, отказавшиеся по велению отцов своих - командиров от капитуляции и от жизни, волками воющие сейчас на морозе, в снегах России. Кто они? Герои? Подвижники? Переустроители жизни? Благодетели человечества? Или вот открыватели Америк. Кто они? Бесстрашные мореплаватели? Первопроходцы? Обратно благодетели? Но эти благодетели на пути к подвигам и благам замордовали, истребили целые народы на своем героическом пути. Народы слабые, доверчивые! Это ж дети, малые дети Земли, а благодетели - по их трупам с крестом и мечом, к новому свету, к совершенству. Слава им! Памятники по всей планете! Возбуждение! Пробуждение! Жажда новых открытий, богатств. И все по трупам, все по крови! Уже не сотни, не тысячи, не миллионы, уже десятками миллионов человечество расплачивается за стремление к свободе, к свету, к просвещенному разуму! Не-эт, не такая она, правда! Ложь! Обман! Коварство умствующих ублюдков! Я готов жить в пещере, жрать сырое мясо, грызть горький корень, но чтоб спокоен был за себя, за судьбу племени своего, собратьев своих и детей, чтобы уверен был, что завтра не пустит их в распыл на мясо, не выгонит их во чистое поле замерзать, погибать в муках новый Наполеон, Гитлер, а то и свой доморощенный бог с бородкой иудея иль с усами джигита, ни разу не садившегося на коня...

- Стоп, военный! - хлопнул по столу старшина и поймал на лету ложку.-

Хорошо ты говоришь, но под окном дежурный с колотушкой ходит...- Мохнаков со значением глянул на Пафнутьева, сунул ложку за валенок.- Иди, прохладись, да пописать не забудь - здесь светлее сделается,- похлопал он себя по лбу.

Люся очнулась, перевела взгляд на Ланцова, на старшину, видно было, что ей жаль солдата, которого зачем-то обижали старшина и лейтенант.

- Простите! - склонил в ее сторону голову Корней Аркадьевич. Он-то чувствовал отзывчивую душу.- Простите!- церемонно поклонился застолью Ланцов и, хватаясь за стены, вышел из хаты.

- Во, артист! Ему комедь представлять бы, а он в пехоте! - засмеялся

Пафнутьев.

Большоголовый, узкогрудый, с тонкими длинными ногами, бывший пожарник походил на гриб, растущий в отбросах. В колхозе, да еще и до колхоза проявлял он высокую сознательность, чего-то на кого-то писал, клепал и хвост этот унес за собой в армию, дотащил до фронта. Злой, хитрый солдат Пафнутьев намекал солдатам - чего-чего, но докладать он научился, никто во взводе не пострадает. И все-таки лучше б его во взводе не было.

Мохнаков умел управляться со всяким кадром. Он выпил самогона, налил Пафнутьеву, дождался, когда тот выпьет, и показал ему коричневую от табака дулю:

- Запыжь ноздрю, пожарный! Ты ведь не слышал, чего тут чернокнижник баял! Не слышал?

- Ни звука! Я же песню пел,- нашелся Пафнутьев и умильно, с пониманием грянул дальше:

Росой с тра-я-вы-ы он у-ю-мыва-ялся-а-а,

Малил-ыл-ся бо-е-огу на-я-а васто-о-о-ок...

Шкалик сел на соломе, покачался, поморгал и потянулся к банке.

- Не цапай чужую посудину! - рыкнул на него старшина и сунул ему чью-то кружку. Шкалик понюхал, зазевал косоротом. Затошнило его.

- Марш на улицу! Свинство какое! - Борис, зардевшись, отвернулся от хозяйки, уставился на старшину. Тот отвел глаза к окну, скучно зевнул и стал громко царапать ледок на стекле.

- Да что вы, да я всякого навидалась! - пыталась ликвидировать неловкую заминку Люся.- Подотру. Не сердитесь на мальчика.- Она хотела идти за тряпкой, по Карышеву деликатно придержал ее за локоть и показал на банку с колбасой. Она стала есть колбасу.- Ой! - спохватилась хозяйка.- А вы сала не хотите? У меня сала есть!

- Хотим сала! - быстро повернулся к ней старшина и охально ощерился.- И

еще кое-чего хотим,- бросил он с ухмылкой вдогонку Люсе.

Пафнутьев, подпершись ладонью, тянул тоненько песню про Ланцова, который из замка убежал. Сколько унижали и жизни Пафнутьева, особенно в тыловой части, в особом-то отделе, все время заставляя хомутничать, прислуживать и все передовой стращали, а оно и на передовой жить можно. Бог милостив! Кукиш под нос? Да пустяк это, но все же царапнуло душу, глаза раскисли, сами собой как-то, невольно раскисли.

- Жалостливость наша,- мямлил Пафнутьев, и все поняли - это он не только о себе, но и о Корнее Аркадьевиче.- Вот я... обутой, одетый, в тепле был, при должности, ужаси никакой не знал... Жалость меня, вишь ли, разобрала... Чувствие!

Мохнаков навис глыбою над столом, начал шарить по карманам, чего-то отыскивать. Вытащил железную пуговицу, подбросил ее, поймал и чересчур решительно вышел из избы, тяжелее обычного косолапя. Последнее время как-то подшибленно стал ходить старшина, заметили солдаты, пьет зверски и все какой-нибудь предмет ловко подбрасывает - пуговицу, монету, камешек, и не ловит игриво, прямо-таки выхватывает предмет из пространства, а то бросит и тут же забудет про него, уставится пустым взглядом в пустоту. Начал даже синенькой немецкой гранатой баловаться. Граната наподобие пасхального яичка -этакая веселая игрушка, бросает иль в горстище ее тискает старшина, а у той пустяшной гранатки и чека пустяшная, что пуговка у штанов. Зароптали бойцы, если желательно старшине, чтобы ему пооторвало руки иль еще кой-чего, пусть жонглирует вдали, им же все, что с собой,- до дому сохранить охота.

В хату возвратился Ланцов, мотнул головой Борису.

Взводный подпрыгнул, кого-то или чего-то сронил со скамьи, разбежавшись, торкнулся в дверь.

В потемках сеней в него ткнулся головой Шкалик. Не мог найти скобу. Борис толкнул Шкалика в хату, прислушался. В темном углу сеней слышалась возня: "Не нужно! Да не надо же! Да что вы?! Да товарищ старшина!.. Да...

Холодно же... Да, господи!.."

- Мохнаков!

Стихло. Из темноты возник старшина, придвинулся, тяжело, смрадно дыша.

- Выйдем на улицу!

Старшина помедлил и нехотя шагнул впереди Бориса, не забыв пригнуться у притолоки. Они стояли один против другого. Ноздри старшины посапывали, вбирая студёный воздух. Борис подождал, пока стукнет дверь в хату.

- Чем могу служить? - дыхание у старшины выровнялось, он не сипел уже ноздрями.

- Вот что, Мохнаков! Если ты... Я тебя убью! Пристрелю. Понял?

Старшина отступил на шаг, смерил взглядом лейтенанта с ног до головы и вяло, укоризненно молвил:

- Окон тузило тебя гранатой, вот и лезешь на стены. Чернокнижника завел.

- Ты знаешь, чем меня оконтузило.

В голосе лейтенанта не было ни злобы, ни грозы, какая-то душу стискивающая тоска, что ли, сквозила издалека, даже завестись ответно не было возможности. На старшину тоже стала накатывать горечь, печаль, словом, чем-то тоскливым тоже повеяло. Он сердито поддернул штаны, запахнул полушубок, осветил взводного фонариком. Тот не зажмурился, не отвел взгляда. Изветренные губы лейтенанта кривило судорогой. В подглазьях темень от земли и бессонницы. Глаза в красных прожилках, шея скосбочилась - натер шею воротником шинели, может, и старая рана воспалилась. Стоит, пялит зенки школьные, непорочные. "Ах ты, господи, боже мой!.."

- По-нят-но! Спа-си-бо! - Мохнаков понял, сейчас вот, в сей миг понял, этот лупоглазый Боречка, землячок его родимый, которым он верховодил и за которого хозяйничал во взводе,- убьет! Никто не осмелится поднять руку на старшину, а этот... Такой вот может, такой зажмурится, но убьет, да еще и сам застрелится чего доброго.- Стрелок какой нашелся! - нервно рассмеялся

старшина и подбросил фонарик. Светлое пятнышко взвилось, ударилось в ладонь и погасло. Старшина поколотил фонарик о колено и, когда загорелось еще раз, придвинул огонек к лицу Бориса, будто подпалить хотел едва наметившуюся бородавку.- "Эх, паря, паря!" - Я ночую в другой избе,- сказал он и пошел, освещая себе дорогу пятнышком.- Катитесь вы все, мокроштанники, брехуны!..- крикнул уже издали старшина.

Борис прислонился спиной к косяку двери. Его подтачивало изнутри. Губы свело, в теле слабость, в ногах слабость. Давило на уши, пузырилось, лопалось что-то в них. Он глядел на два острых тополя, стоявших против дома. Голые, темные, в веник собранные тополя недвижны, подрост за ними - вишенник, терновые ли кусты - клубятся темными взрывами.

Сколки звезд светились беспокойно и мерзло. По улицам металась огни машин, вякали гармошки, всплескивался хохот, скрип подвод слышался, где-то напуганно лаяла охрипшая собака.

"Ах ты, Мохнаков, Мохнаков! Что же ты с собой сделал? А может, война с тобой?.." - Борис опустил на порожек сеней, сунул руки меж колен, мертво уронил голову.

Лай собаки отдалился...

- Вы же заоченели, товарищ лейтенант! - слышался голос Люси. Она нащупала Бориса на порожке и мягко провела ладонью по его затылку.- Шли бы в хату.

Борис передернул плечами, открыл глаза. Поле в язвах воронок; старик и старуха возле картофельной ямы; огромный человек в пламени; хрип танков и людей, лязг осколков, огненные вспышки, крики - все это скомкалось, отлетело куда-то. Дергающееся возле самого горла сердце сжалось, постояло на мертвой точке и опало на свое место.

- Меня Борисом зовут,- возвращаясь к самому себе, выдохнул с облегчением взводный.- Какой я вам товарищ лейтенант!

Он отстранился от двери, не понимая, отчего колотится все в нем, и

сознание - все еще отлетчивое, скользкое, будто по ледяной катушке катятся по нему обрывки видений и опадают за остро отточенную, но неуловимую грань. трудом еще воспринималась явь - эта ночь, наполненная треском мороза, шумом отвоевавшихся людей, и эта женщина с древними глазами, по которым искрят небесные или снежные звезды, зябко прижавшаяся к косяку двери. Как тихо! Все остановилось. Прямо и не верится. Вам принести шинель?

- Нет, к чему? - не сразу отозвался Борис. Он старался не встречаться с нею взглядом. Какую-то пугливую настороженность вызывали в нем и этот чего-то прячущий взгляд, и звезды, робко протыкающие небесную мглу или в высь поднявшуюся и никак не рассеивавшуюся тучу порохового дыма.- Пойдемте в избу, а то болтовни не оберешься...

- Да уж свалились почти все. Вы ведь долго сидели. Я уж беспокоиться начала... А Корней Аркадьевич все разговаривает сам с собой. Занятный человек...- хозяйка хотела и не решалась о чем-то спросить.- А старшина?..

- Нет старшины! - преодолевая замешательство, коротко ответил взводный.

- В избу! - сразу оживилась, заспешила хозяйка, нашаривая скобу.- Я уж отвыкла. Все хата, хата, хата...- Она не открыла дверь сразу. Борис уперся в ее спину руками - под топким ситцевым халатом круглые, неожиданно сильные лопатки, пуговка под пальцы угодила. Люся поежилась, заскочила в хату. Борис вошел следом. Пряча глаза, он погрел руки о печь и начал разуваться.

В хате жарко и душно. Подтопок резво потрескивал. Горели в нем сосновые добрые поленья, раздобытые где-то солдатами. Сзади подгонка, вмурованный в кирпичи, сипел по-самоварному бак с водою. Взводный искал куда бы пристроить портянки, по все уже было завешено пожитками солдат, от них расплывалась по кухне хомутная прель. Люся отняла у Бориса портянки, приладила их на поленья возле дверцы подтопка.

Ланцов качался за столом, клевал носом.

- Ложились бы вы, Корней Аркадьевич.- Борис прижимался спиной к подтопку и ощущал, как распускается, вянет его нутро.- Все уже спят, и вам

пора.

- Варварство! Идиотство! Дичь! - будто не слыша Бориса, философствовал Ланцов.- Глухой Бетховен для светлых душ творил, фюрер под его музыку заставил маршировать своих пустоголовых убийц. Нищий Рембрандт кровью своей писал бессмертные картины! Геринг их уворовал. Когда припрет - он их в печку... И откуда это? Чем гениальнее произведение искусства, тем сильнее тянутся к нему головорезы! Так вот и к женщине! Чем она прекрасней, тем больше хочется лапать ее насильникам...

- Может, все-таки хватит? - оборвал Борис Корней Аркадьевича.- Хозяйке отдыхать надо. Мы и так обеспокоили.

- Что вы, что вы? Даже и не представляете, как радостно видеть и слышать своих! Да и говорит Корней Аркадьевич красиво. Мы тут отучились уж от человеческих слов.

Корней Аркадьевич поднял голову, с натужным вниманием уставился на Люсю.

- Простите старика.- Он потискал костлявыми пальцами обросшее лицо.- Напился, как свинья! И вы, Борис, простите. Ради бога! - уронив голову на стол, он пьяненько всхлипнул. Борис подхватил его под мышки, свалил на солому. Люся примчала подушку из чистой половины, подсунула ее под голову Корнея Аркадьевича. Услышав мягкое под щекою, он хлюпнул носом: - Подушка! Ах вы, дети! Как мне вас жалко! - свистнув прощально носом, он отчалил от этих берегов, задышав ровно, с пришлепом.

- Пал последний мой гренадер! - через силу улыбнулся Борис.

Люся убирала со стола. Взявшись за посудину с самогоном, она вопросительно взглянула на лейтенанта.

- Нет-нет! - поспешно отмахнулся он.- Запах от нее... В пору тараканов морить!

Люся поставила канистру на подоконник, смела со стола объедь, вытряхнула тряпку над лоханкой. Борис отыскал место среди разметавшихся,

убитых сном солдат. Шкалика - мелкую рыбешку - выдавили наверх матерые осетры - алтайцы. Он лежал поперек народа, хватал воздух распахнутым ртом.

Похоже было - кричал что-то во сне. Квасил губы Ланцов, обняв подушку.

Храпел Малышев, и солому трепало возле его рта. Взлетали планки пяти медалей на булыжной груди Карышева. Сами медали у него в кармане: колечки соединительные, говорит, слабы - могут отцепиться или вши отъедят.

Борис швырнул на пол шинель к ногам солдат, рывком выдернул из-под них клок измочаленной соломы и начал стелить в головах телогрейку. Люся смотрела, смотрела и, на что-то решившись, взяла с полу шинель, телогрейку лейтенанта и забросила их на печь, приподнявшись на припечек, расстелила одежду, чтобы лучше просыхала, и, управившись с делом, легко спрыгнула на пол.

- Ну, зачем вы? Я бы сам...

- Идите сюда! - позвала Люся.

Стараясь ступать тихо, лейтенант боязливо и послушно поволокся за ней.

В передней горел свет. Борис зажмурился - таким ярким он ему показался. Комната убрана просто и чисто. Широкая скамья со спинкой, на ней половичок, расшитый украинским орнаментом, пол земляной, по гладко, без щелей мазанный. Среди комнаты, в деревянном ящике,- раскидистый цветок с двумя яркими бутонами. На подоконнике тоже стояли цветы в ящиках и старых горшках. Воздух в передней домашний, земляной. Скучная опрятность кругом, и все же после кухонного густолюдья, спертого запаха отдавало здесь нежилым, парником вроде бы отдавало.

Борис переступал на холодном, щекочущем пятки полу, стыдясь грязных ног, и с подчеркнутым интересом глядел на лампочку нерусского образца - приплюснутую снизу.

Люся, тоже ровно бы потерявшись в этой просторной, выветренной комнате, говорила, что селение у них везучее. За рекой вон хутор поразбили, а здесь все цело, хотя именно здесь стоял целый месяц немецкий штаб, но наши

летчики, видать, не знали об этом. Локомотив немцы поставили. В хате квартировал важный генерал, для него и свет провели, да ночевать-то ему здесь почти не довелось, в штабе и спал. Отступали немцы за реку бегом, про локомотив забыли, вот и остался он на полном ходу.

Сбивчиво объясняя все это, хозяйка раздвинула холщовые занавески с аппликациями. За узкой фанерной дверью обнаружилась еще одна небольшая комнатка. В ней был деревянный, неровно пригнанный пол, застланный пестрой ряднинкой, этажерка с книгами, поломанный гребень на этажерке, наперсток, ножницы, толстая хомутная игла, воткнутая в вышитую салфетку. У глухой стены против окна - чистая кровать с одной подушкой. Другую подушку, догадался Борис, хозяйка унесла Корнею Аркадьевичу.

- Вот тут и ложитесь,- показала Люся на кровать.

- Нет! - испугался взводный.- Я такой...- пошарил он себя по гимнастерке и ошутимее почувствовал под нею давно не мытое, очерствелое тело.

- Вам ведь спать негде.

- Может быть, там,- помявшись, указал Борис на дверь.- Ну, на скамье. Да и то...- он отвернулся, покраснел.- Зима, знаете. Летом не так. Летом почему-то их меньше бывает...

Хозяйке передалось его смущение, она не знала, как все уладить. Смотрела на свои руки. Борис заметил уже, как часто она смотрит на свои руки, будто пытается понять - зачем они ей и куда их девать. Неловкость затягивалась. Люся покусала губу и решительно шагнула в переднюю. Вернувшись с ситцевым халатом, протянула его.

- Сейчас же снимайте с себя все! - скомандовала она.- Я вам поставлю корыто, и вы немножко побанитесь. Да смелей, смелей! Я всего навиделась.- Она говорила бойко, напористо, даже подмигнула ему: не робей, мол, гвардеец! Но тут же зарделась сама и выскользнула из комнаты.

Раскинув халат, Борис обнаружил на нем разнокалиберные пуговицы. Одна

пуговица была оловянная, солдатская, сзади пришит поясок. Смешно сделалось Борису. Он даже чего-то веселое забормотал, да опомнился, скомкал халат, толкнул дверь, чтобы выкинуть дамскую эту принадлежность.

- Я вас не пущу! - Люся держала фанерную дверь.- Если хотите, чтобы высохло к утру,- раздевайтесь!

Борис опешил.

- Во-о. Дела-а! - почесал затылок.- Д-а, да что я на самом деле - вояка или не вояка?! - решительно сбросил с себя все, надел халат, застегнул и, собрав в беремья манатки, вышел к хозяйке, да еще и повернулся лихо перед нею, отчего пола халата закинулась, обнажив колено с крупной чашечкой.

Люся прикрыла рот ладонью. Поглядывая украдкой на лейтенанта, она вытащила из кармана гимнастерки документы, бумаги, отвинтила орден Красной Звезды, гвардейский значок, отцепила медаль "За боевые заслуги". Осторожно отпоролла желтенькую нашивку - знак тяжелого ранения. Борис щупал листья цветка, нюхал красный бутон и дивился - ничем он не пахнет. Вдруг обнаружил - цветок-то из стружек! Червонный цветок напомнил живую рану, занудило опять нутро взводного.

- Это что? - Люся показала на нашивку.

- Ранение,- отозвался Борис и почему-то соврал поспешно,- легкое.

- Куда?

- Да вот,- ткнул он пальцем в шею себе.- Пулей чиркнуло. Пустяки. Люся внимательно поглядела, куда он показал: чуть выше ключицы фасолиной изогнулся синеватый шрам. В ушах лейтенанта земля, воспаленные глаза в темно-угольном ободке. Колючий ворот мокрой шинели натер шею лейтенанта, он словно был в галстук. Кожей своей ощутила женщина, как саднит шея, как все устало в человеке от пота, грязи, пропитанной сыростью и запахом гари военной одежды.

- Пусть все лежит на столе,- сказала Люся и снялась с места.- Немножко еще помучайтесь, и я вас побаню. "Побаню!" - подхватил взводный тутощнее

слово.

- Возьмите книжку, что ли,- приоткрыв дверь, посоветовала Люся.

- Книжку? Какую книжку? Ах, книжку!

В маленькой комнатке Борис присел перед этажеркой. Халат скрипнул на спине, он скорее выпрямился, распахнув полы, оглядел себя воровато и остался недоволен: мослат, кожа в пупырышках от холода и страха, бесцветные полосы разбродно росли на ногах и на груди.

Книжки касались все больше непонятных ему юридических дел.

"Вот уж не подумал бы, что она какое-то отношение имеет к судам".

Среди учебников и наставлений по законодательству обнаружилась тонехонькая, зачитанная книжка в самодельной обложке.

- "Старые годы",- вслух прочел Борис. Прочел и как-то даже сам себе не поверил, что вот стоит он в беленькой, однооконной комнате, на нем халат с пояском. От халата и от кровати исходит дразнящий запах. Ну может, и нет никакого запаха, может, блазнится он. Тело не чувствовало халата после многослойной зимней одежды, как бы сросшейся с кожей. Борис нет-нет да и пошевеливал плечами.

Все еще позванивало в голове, давило на уши, нудило внутри.

"Поспать бы минут двести-триста, а лучше четыреста!" - глядя на манящую чистоту кровати, зевнул Борис и скользнул глазами по книжке. "Довелось мне раз побывать в большом селе Заборье. Стоит оно на Волге. Место тут привольное..." - Борис изумленно уставился на буквы и уже с наслаждением, вслух повторил начало этой старинной, по-русски жестокой и по-русски же слезливой истории.

Музыка слов, даже шорох бумаги так его обрадовали, что он в третий раз повторил начальную фразу, дабы услышать себя и удостовериться, что все так оно и есть: он живой, по телу его пробегает холодок, пупырит кожу, в руках книжка, которую можно читать, слушая самого себя. Как будто опасаясь, что его оторвут, Борис торопливо читал слова из книжки и не понимал их, а только

слушал, слушал.

- С кем вы тут?

Лейтенант смотрел ни Люсю издалека.

- Да вот на Мельникова-Печерского напал,- отозвался он наконец.-

Хорошая какая книжка.

- Я ее тоже очень люблю.- Люся вытирала руки холщовой тряпкой.- Идите, мойтесь.- Полизанная платком, она снова сделалась старше, строже, и глаза ее опять отдалились в обыденность.

Прежде чем попасть за русскую печку, в закуток, где была теплая лежанка-на ней-то и приспособила Люся деревянное корыто, оставила баночку со своедельным мылом, мочалку, ведро и ковшик,- Борис выскреб из-под стола запинанного туда озверело храпящими солдатами чердынского вояку, сводил его до лохани, подержал под мышки до тех пор, пока не перестало журчать, а журчало долго, и только после этого сказал себе бодренько:

- Крещайся, раб божий! - сказал и, едва не опрокинув корыто, с трудом уселся в него.

Он мылся, подогнув под себя ноги, и чувствовал, как сходит с него не грязь, а отболелая кожа. Из-под кожи, скотской, толстой, грубой, соленой, обнажается молодое, спудороженное усталостью тело, и так высветляется, что даже кости слышны делаются, душа жить начинает, по телу медленно плывет истома, качает корыто, будто лодку на волне, и несет, несет куда-то в тихую заводь полусонного лейтенантишку.

Он старался не наплескать на пол, не обшлепать стену, печку и все же обшлепал печку, стену и наплескал на пол.

В запечье совсем сделалось душно, потянуло отсыревшей глиной, назьмом, в носу сделалось щекотно. Вспомнилось Борису, как глянулось ему, когда дома перекладывали печь. Виднелось все до мелочей. Дома все перевернуто, разгромлено - наступала вольность на несколько дней. Бегай сколько хочешь, ночуй у соседей, ешь чего придется и когда придется. Мать, явившись с

уроков, брезгливо корчила губы, гусиным шагом ступала по мокрой глине, ломи кирпича. Весь ее вид выражал нетерпение, досаду, и она поскорее скрывалась в горнице, разя отца взыскующе-суровым взглядом.

Отец, тоже умаянный в школе, виновато подвязывался мешком, включался в работу. Печник ободрял его, говоря, вот, мол, интеллигент, а грязного дела не чуждается. Отец же поглядывал на дверь горницы и заискивающе предлагал: "Детка, ты, может быть, в столовой покушаешь?.."

Ответом ему было презрительное молчание.

Борис таскал кирпичи, месил глину, путался под ногами мужиков, грязный, мокрый, возбужденно звал: "Мама! Смотри, уж печка получается!.."

А она и в самом деле получалась: из груды кирпичей, из глины выросло сооружение, зевастое чело, глазки печурок, даже бордюрик возле трубы.

Печку наконец затопляли, работники сосредоточенно ждали - что будет? Нехотя, с сипом выбрасывая дым в широкую ноздрю, разгоралась печка. Еще темная, чужая, она постепенно оживлялась, начинала шипеть, пощелкивать, стрелять искрами на шесток и обсыхать с чела, делаясь пестрой, как корова, становясь необходимой и привычной в доме.

На кухонном столе печник с отцом распивали поллитровку - для подогрева и разгона печи. "Эй, хозяйка! Принимай работу!" - требовал печник.

Хозяйка на призыв не откликнулась. Печник обиженно совал в карман скомканные деньги, прощался с хозяином за руку и, как бы сочувствуя ему и поощряя в то же время, кивал на плотно затворенную дверь: "Я б с такой бабой дня не стал жить!"

В какой-то далекой, но вдруг приблизившейся жизни все это было. Борис подтирал за печкой пол и не торопился уходить, желая продлить нахлынувшее - этот кусочек из прошлого, в котором все теперь было исполнено особого смысла и значения.

Шкалика снова успели запинать под стол, и он там на голом прохладном полу чувствовал себя лучше. "А пусть не лезет ко взрослым!"

Отжав тряпку под рукомойником, Борис сполоснул руки и вошел в комнату.

Люся сидела на скамье, отпарывала подворотничок, как бы спявшийся с гимнастеркой плесенно-серыми наплывами.

- Воскрес раб божий! - с деланной лихостью отрапортовал Борис, слабо надеясь, что в подворотничке гимнастерки ничего нету, никаких таких зверей.

Отложив гимнастерку, Люся, теперь уже открытым взглядом, по-матерински близко и ласково глядела на него. Русые волосы лейтенанта, волнистые от природы, взялись кучерявинками. Глаза ровно бы тоже отмылись. Ярче алела натертая ссадина на худой шее. Весь этот парень, без единого пятнышка на лице, с безгрешным взглядом, в ситцевом халате, до того был смущен, что не угадывался в нем окопный командир.

- Ох, товарищ лейтенант! Не одна дивчина потеряет голову из-за вас!

- Глупости какие! - отбился лейтенант и тут же быстро спросил: - Почему это?

- Потому что потому,- заявила Люся, поднимаясь.- Девчонки таких вот мальчиков чувствуют и любят, а замуж идут за скотов. Ну, я исчезла! Ложитесь с богом! - Люся мимоходом погладила его по щеке, и было в ласке ее и в словах какое-то снисходительное над ним превосходство. Никак она не постигалась и не улавливалась. Даже когда смеялась, в глазах ее оставалась недвижная печаль, и глаза эти так отдельно и жили на ее лице своей строго сосредоточенной и всепонимающей жизнью.

"Но ведь она моложе меня или одногодок?" - подумал Борис, юркнув в постель, однако дальше думать ничего не сумел.

Веки сами собой налились тяжестью, сон медведем навалился на него.

Ординарец комроты Филькина, наглый парень, гордящийся тем, что сидел два раза в тюрьме за хулиганство, ныне пододевшийся в комсоставовский полушубок, в чесанки и белую шапку, злорадно растолкал Бориса и других командиров задолго до рассвета.

- Ой! А я выстирать-то не успела! Побоялась идти ночью по воду на

речку. Утром думала...- виновато сказала хозяйка и, прислонившись к печке, ждала, пока Борис переоденется в комнате.- Вы приходите еще,- все так же виновато добавила она, когда Борис явился на кухню.- Я и выстираю тогда...

- Спасибо. Если удастся,- сонно отозвался Борис и прокашлялся, подумав: это она старшины побоялась. С завистью глянув на мертво спящих солдат, он кивнул Люсе головой и вышел из хаты.

- Заспались, заспались, прапоры! - такими словами встретил своих командиров Филькин. Он, когда бывал не в духе, всегда так обидно называл своих взводных. Иные из них сердились, в пререкания вступали. Но в это утро и языком-то ворочать не хотелось. Комвзводы хохлились на стуже, пряча лица в поднятые воротники шинелей.- Э-эх, прапоры, прапоры! - вздохнул Филькин и повел их за собой из уютного украинского местечка к разбитому хутору, навстречу занимающемуся рассвету, сталисто отсвечивающему на дальнем краю неба, мутно проступившему в заснеженных полях.

Комроты курил уже не сигареты, а крепкую махру. Он, должно быть, так и не ложился. Убивал крепким табаком сон. Он вообще-то ничего мужик, вспыхивает берестой, трещит, копать поднимать любит большую. Но и остывает быстро. Не его же вина, что немец не сдастся. Комроты сообщил, что вчера наши парламентары предложили полную капитуляцию командованию группировки и по радио до позднего часа твердили, что это последнее предупреждение. Отказ.

Засел противник по оврагам, в полях - молчит, держится. Зачем? За что? Какой в этом смысл? И вообще какой смысл во всем этом? В таком вот побоище? Чтоб еще раз доказать превосходство человека над человеком? Мимоходом Борис видел пленных - ничего в них не только сверхчеловеческого, но и человеческого-то не осталось. Обмороженные, опухшие от голода, едва шевелящиеся солдаты в ремках, в дырявой студеной обуви. И вот их-то добивать? Кто, что принуждает их умирать так мучительно? Кому это нужно?

- Кемаришь, Боря?

Борис вскинулся. Надо же! Научился на ходу дрыхать... Как это у Чехова?

Если зайца долго лупить, он спички зажигать научится...

Светлее сделалось. И вроде бы еще холоднее. Все нутро от дрожи вот-вот рассыплется. "Душа скулит и просится в санчасть!.." - рыдающими голосами пели когда-то земляки-блатняги, всегда изобильно водившиеся в родном сибирском городке.

- Видишь поле за оврагами и за речкой? - спросил Филькин и сунул Борису бинокль со словами:- Пора бы уж своим обзавестись... Последний опорный пункт фашистов, товарищи командиры,- показывая рукой на село за полем, продолжал комроты. Держа на отлете бинокль с холодными ободками, Борис ждал, чего он еще скажет.- По сигналу ракет - с двух сторон!..

- Опять мы?! - зароптали взводные.

- И мы! - снова разъярился комроты Филькин.- Нас что, сюда рыжики собирать послали? У меня чтоб через час все на исходных были! И никаких соплей! - Филькин сурово поглядел на Бориса.- Бить фрица, чтоб у него зубы крошились! Чтобы охота воевать отпала...

Прибавив для выразительности крепкое слово, Филькин выхватил у Бориса бинокль и поспешил куда-то, выбрасывая из перемерзлого снега кривые казачьи ноги.

Взводные вернулись в проснувшееся уже местечко, как велел командир роты, выжили солдат из тепла во чисто поле.

Солдаты сперва ворчали, но потом залегли и снегу и примолкли, пробуя еще дремать, кляня про себя немцев. И чего еще ждут проклятые? Чего вынюхивают? Богу своему нарядному о спасении молятся? Да какой же тут бог поможет, когда окружение и силы военной столько, что и мышь не проскочит из кольца...

За оврагом взвилась красная ракета, затем серия зеленых. По всему хутору зарычали танки, машины. Колонна на дороге рассыпалась, зашевелилась. Сначала медленно, ломая остатки плетней и худенькие сады по склонам оврагов, врассыпную ползли танки и самоходки. Затем, будто сбросив путы, рванулись,

пустив черные дымы, заваливаясь в воронках, поныривая в сугробах.

Ударил артиллерия. Зафукали из снега эрэсы. Вытащив пистолет со сношенной воронью, метнулся к оврагам комроты Филькин. Бойцы поднялись из снега...

Возле оврагов танки и самоходки застопорили, открыли огонь из пушек. От хутора с воем полетели мины. Филькин осадил пехотинцев, велел ложиться. Обстановка все еще неясная. Многие огневые перемещены. Связь снегом похоронило. Минометчики и артиллеристы запросто лупанут по башкам, после каяться будут, магарыч ставить, чтоб жалобу на них не писали.

И в самом деле вскоре чуть не попало. Те же гаубицы-полторасотки, которые в ночном бою бухали за спиной пехоты, начали месить овраги и раза два угодили уж поверху. Бойцы отползли к огородам, уроненным плетням, заработали лопатами, окапываясь. Мерзло визжа гусеницами, танки начали обтекать овраги, выползли к полю, охватывая его с двух сторон, сгоня врага в неглубокую пойму речки, по которой сплошь впритык стояли не двигаясь машины, орудия, вездеходы, несколько танков с открытыми люками.

Пехота раздробленно постреливала из винтовок и пулеметов. Значит, не наступила ее пора. Тут всякий солдат себе стратег.

Когда-то Борис, как и многие молодые, от начитанности прыткие командиры, не понимал этого и понимать не желал. На фронт из полковой школы он прибыл, когда немец спешно катился с Северного Кавказа и Кубани. Наши войска настойчиво догоняли противника, меся сначала кубанский чернозем, затем песок со снегом, и никак не могли догнать.

Борису так хотелось скорее настичь врага, сразиться.

"Успеешь, младший лейтенант, успеешь! Немца хватит на всех и на тебя тоже!" - снисходительно успокаивали неторопливо топающие, покуривающие табачок рассудительные бойцы. В мешковатых шинелях, с флягами и котелками на боку, с рюкзаком, горбато дыбющимся за спиной, они совсем не походили на тот образ бойца, какого мечтал вести вперед Борис. Они и двигались-то

неторопливо, но так ловко, что к вечеру неизменно оказывались в селе или станице, мало побитых врагом, располагались на ночевку удобно, обстоятельно, иные даже и на пару с черноокими, податливо игривыми казачками.

"Вот, понимаешь, воины! - негодовал младший лейтенант.- Враг топчет нашу священную землю, а они, понимаешь!"

Сам он до того изнервничался, до того избегался, наголодовался в придонских степях, что появились у него мозоли на ногах и на руках, по телу пошли чирьи. Его особенно изумили мозоли на руках: земли не копал, все только суетился, кричал, бегал - и вот тебе на!..

Врага настигли в Харьковской области. Дождлся-таки боя молодой и горячий командир. Дрожало все в нем от нетерпеливой жажды схватки. Запотела даже ручка нагана, заранее вынутого из кирзовой кобуры и заложенного за борт телогрейки. Он неистово сжимал ручку, готовый расстреливать врага в упор, если понадобится, и рукояткой долбануть по башке. Обидно было немножко, что не дали ему настоящий пистолет - из нагана какая стрельба?! Но в руках умелого, целеустремленного воина, как учили в полковой школе, древний семизарядный наган может стать грозным оружием.

И не успели еще разорваться последние снаряды арналета, еще и ракеты, свистнувшие над окопами и каплями опадающие вниз, не погасли, как выскочил Борис из траншеи, громогласно, как ему показалось, на самом деле сорванно и визгливо закричал: "За мной! Ур-ра!" - и, махая наганом, помчался вперед. Помчался и отчего-то не услышал за собой героических возгласов, грозного топота. Оглянулся: солдаты шли в атаку перебежками, неторопливо, деловито, как будто не в бою, на работе были они и выполняли ее расчетливо, обстоятельно, не обращая вроде бы никакого внимания друг на друга и на своего боевого командира.

"Труссы! Негодяи! Вперед!.." - заорал пуще прежнего младший лейтенант, но никто вперед не бросился, кроме двух-трех молоденьких солдатиков, которых тут же и подсекло пулями. И тогда пришло молниеносное решение: пристрелить.

Пристрелить для примера одного из этих молчаливых бойцов, с лицом, отстраненным от боя, от мира и от всего на свете, с фигурой совсем не боевой...

И как на грех плюхнулся рядом с ним дядька, плюхнулся и начал немедленно орудовать лопатой, закапывая сначала голову, потом дальше, глубже вгрызаясь в землю.

Борис на него заорал, даже затопал: "Ты что, копать сюда прибыл или биться?" - собрался даже, нет, не застрелить - боязно все же стрелять-то, хотя бы стукнуть подлеца наганом. Как вдруг солдат этот, с двухцветной щетиной на лице, каурой и седой, бесцеремонно рванул лейтенанта за сапог, уронил рядом с собой, да еще и подгреб под себя, будто кубанскую молодуху. "Убьют ведь, дура!" - сказал солдат и стал куда-то стрелять из винтовки, потом вскочил и невообразимо проворно для его возраста ринулся вперед, и вроде бы как занырнул в воду, крикнув напоследок: "Не горячись!.. За мной следи..."

Смеяться над Борисом особо не смеялись, но так, между прочим, подъелдыкивали: "Нам чо? Мы за нашим отцом-командиром - как за каменной стеной, без страха и сомнения!.. Он как побежит, как всех наганом застрелит!.. Нам токо трофеи собирать..."

Не сразу, нет, а после многих боев, после ранения, после госпиталя застыдил себя Борис, такого самонадеянного, такого разудалого и несуразного, дошел головой своей, что не солдаты за ним, он за солдатами! Солдат, он и без него знает, что надо делать на войне, и лучше всего, и тверже всего знает он, что, пока в землю закопан, - ему сам черт не брат, а вот когда выскочит из земли наверх - так неизвестно, чего будет: могут и убить. Поэтому, пока возможно, он не выберется оттудова и за всяким-яким в атаку не пойдет, будет ждать, когда свой ванька-взводный даст команду вылезать из окопа и идти вперед. Уж если свой ванька-взводный пошел, значит, все возможности к тому, чтобы не идти, исчерпаны. Но и тогда, когда

ванька-взводный, поминая всех богов, попа, Гитлера и много других людей и предметов, вылезет наверх, даст кому-нибудь пинка-другого, зовя в сражение, старый вояка еще секунду-другую перебудет в окопе, замешкается с каким-либо делом, дело же, не пускающее его наверх, всегда найдется, и всегда в вояке живет надежда, что, может, все обойдется, может, вылезать-то вовсе не надо - артиллерия, может, лупанет, может, самолеты его или наши налетят, начнут без разбору своих и чужих бомбить, может, немец сам убежит, либо еще что случится...

А так как на войне много чего случается,- глядишь, эта вот секунда-другая и продлит жизнь солдата на целый век, в это время и пролетит его пуля...

Но прошел всякий срок. Дальше уж оставаться в окопе неприлично, дальше уж подло в нем оставаться, зная, что товарищи твои начали свое тяжкое, смертное дело и любой из них в любое мгновение может погибнуть. Распалая самого себя матом, разом отринув от себя все земное, собранный в комок, все слышащий, все видящий, вымахнет боец из окопа и сделает бросок к той кочке, к пню, к забору, к убитой лошади, к опрокинутой повозке, а то и к закоченелому фашисту, словом, к заранее намеченной позиции, сразу же падет и, если возможно, палить начнет из оружия, какое у него имеется. Если его при броске зацепило, но рана не смертельная - боец палит еще пуще, коли подползет к нему свой брат-солдат помочь перевязкой, он его отгонит, призывая биться. Сейчас главное - закрепиться, сейчас главное-палить и палить, чтобы враг не очухался. Бейся, боец, пали, не метусись и намечай себе объект для следующего броска - боже упаси ослабить огонь, боже упаси покатиться обратно! Вот тогда солдатики слепые, тогда они ничего не видят, не слышат и забудут не только про раненых, но и про себя, и выложат их за один бой столько, сколько за пять боев не выложат...

Но вот закрепились бойцы, на следующий рубеж перекинулись- вздохнул раненый солдат, рану пощупал и начал принимать решение: закурить ему сейчас

и потом себя перевязать или же наоборот? Санитара ждать очень длинное, почти безнадежное дело, солдат - рота, санитар - один, ну два, окочуришься, ожидаючи помощи, надо самостоятельно замотать бинты и двигаться к окопу. Живой останешься - хоть ешь его, табак-то. Перевязывать себя ловко в запасном полку, под наблюдением ротного санитаря. Лежа под огнем, охваченного болью и страхом, перевязывать себя совсем несподручно, да и индпакета не хватит.

Санитаров же не дожидаться, нет. Санитары и медсестры, большей частью кучерявые девицы, шибко много лаят по полю боя в кинокартинах, и раненых из-под огня волокут на себе, невзирая на мужицкий вес, да еще и с песней. Но тут не кино.

Ползет солдат туда, где обжит им уголок окопа. Короток был путь от него навстречу пуле или осколку, долог путь обратный. Ползет, облизывая ссохшиеся губы, зажав булькающую рану, под ребром, и облегчить себя ничем не может, даже матюком. Никакой ругани, никакого богохульства позволить себе сейчас солдат не может - он между жизнью и смертью. Какова нить, их связующая? Может, она так тонка, что оборвется от худого слова. Ни-ни! Ни боже мой! Солдат разом делается суеверен. Солдат даже заискивающе-просительным делается: "Боженька, миленький! Помоги мне! Помоги, а? Никогда в тебя больше материться не буду!"

И вот он, окоп. Родимый. Скатись и него, скатись, солдат, не робей! Будет очень больно, молонья сверкнет в глазах, ровно оглоушит тебя кто-то поленом по башке. Но это своя боль. Что ж ты хотел, чтобы при ранении и никакой боли? Ишь ты какой, намазанный-сухой!.. Война ведь война, брат, беспощадная...

Бултых в омут окопа - аж круги красные пошли, аж треснуло что-то в теле и горячее от крови сделалось. Но все это уже не страшно. Здесь, в окопе, уж не дострелят, здесь воистину как за каменной стеной! Здесь и санитары скорее наткнутся на него, надо только орать сколько есть силы и надеяться на

лучшее.

Бывало, здесь, в окопе, ослабивши напряжение в себе, и умрет солдатик с верой в жизнь, огорчившись под конец, что все вот вынес, претерпел, до окопа добрался... в госпиталь бы теперь, и жить да жить...

Он даже не помрет, он просто обессилеет, ослабнет телом, но сознание его все будет недоумевать и не соглашаться с таким положением - ведь все вынес, все перетерпел. Ему теперь положено лечиться, и жизнь он заслужил...

Нет, солдат не помрет - просто сожмется в нем сердце от одиночества и грустно утихнет разум.

...Ну а если все-таки по-другому, по-счастливому если? Дотянул до госпиталя солдат, вынес операцию, вынес первые бредовые, горячие ночи, огляделся, поел щей, напился чаю с сахаром, которого накопилось аж целый стакан! И письма бодрые домой и в часть послал, первый раз, держась за койку, поднялся и слезно умилился свету, соседям по палате, сестрице, которая поддерживала мослы его, вроде бы как сплющенные от лежания на казенной койке. И случалось, случалось - с передовой, из родной части газетку присылали с каким-нибудь диковинно-ужасным названием: "Смерть врагу!", "Сокрушительный удар" или просто "Прорыв", и в "Прорыве" том выразительно написано, как солдат бился до конца, не уходил с поля боя будучи раненым и "заражал своим примером..."

Удивляясь на самого себя, пораженный словами: "бился до конца", "заражал своим примером",- солдат совершенно уверует, что так оно и было. Он ведь и в самом деле "заражал", и столько в нем прибудет бодрости духа, что с героического отчаянья закрутит солдат любовь с той самой сестрицей, что подняла его с койки и учила ходить,- аж целый месяц, а то и полтора продлится эта испепеляющая любовь.

И когда снова вернется солдат в родную роту - будет сохнуть по нему сестрица, может, месяц, может, и больше, до тех пор сохнуть, пока не дрогнет ее сострадательное сердце перед другим героем и день сегодняшний затемнит

все вчерашнее, ибо живет человек на войне одним днем. Выжил сегодня - слава богу, глядишь, завтра тоже выживешь. Там еще день, еще - смотришь, и войне конец!

Нет, не сразу, не вдруг уразумел Борис, что воевать, не погибая сдуру, могут только очень умные и хитрые люди и что, будь ты хоть разгерой - командир или обыкновенный ушлый солдат в обмотках,- когда вымахнете из окопа, оба вы: и он - солдат, и ты - командир, становитесь перед смертью равны, один на один с нею останетесь.

И тут уж кто кого.

Ветер вовсе утих. Снег не кружило, и на небе с одной стороны объявилась мутная луна, тоже как будто издолбленная осколками, а с другой пробилось сквозь небесную муть заиндевелое, сумрачное солнце.

"И почему это в самые лихие для людей часы в природе что-нибудь..." - Борис не успел довершить эту мысль. Филькин совал ему бинокль. Совал молча. Но лейтенант уже и без бинокля видел все. Из села, что было за оврагами и полем, на плоскую высотку, изрезанную оврагами, но больше всего в голую пойму речки, помеченную редкими обрубьями кустов, высыпала туча народу - не стало видно снега. Из оврага тоже вываливали и вываливали волна за волной толпы людей и бежали навстречу тем, что прибором накатывали из села. Сужалось и сужалось белое пространство. И стекали темные струи в речку, по которой и в которой уже шевелился темный поток людской, норовя найти выход, утечь куда-то.

На всех скоростях катили танки, вдруг сверкнуло что-то игрушечно, вихрем клубя, смахивая снега со склонов в речку.

"Кавалерия!" - ахнул Борис, и у него подпрыгнуло, задергалось сердце, будто в детстве, когда он видел стремительную атаку конницы в кино. Не доводилось ему видеть конных атак наяву, ведь конники в этой войне действовали спешившись. И закипела, заплескалась от взрывов речка. Палили азартно, вдохновенно пушки, минометы, реактивные установки, летели вверх

комья земли, вороха снега, куски мяса, клочья одежды, колеса, обломки дерева, распоротое железо. Кружило, вертело. Снег пылил. Дымно от танков было. Топот коней, рокот танков, людские вопли.

Пехотинцы тоже кричали, ярились, даже рвались к оврагам, но все же первой и унялась пехота.

И за оврагами, в поле, в пойме речки все унялось.

Слабое шевеление. Агония. Смерть. Все унялось.

Две машины кострами горели в поле, пустив большой дым в небо, к солнцу, все больше яснеющему. Сыпалась пальба уже торопливая, бестолковая, безнаказанная - так палят на охоте в ныряющего подранка.

- Вот и все! - почему-то шепотом сказал комроты Филькин. Сказал, удивился, должно быть, своему шепоту и зычно гаркнул: - Все, товарищи! Капут группировке!

Пафнутьев услужливо застрочил из автомата в небо, запрыгал, простуженным дискантом выдал "ура!".

- Чо вы? Охренели?! Победа же! Наголову фашист!..- кричал он своим товарищам.

Бойцы подавленно смотрели на поле, истерзанное, испятнанное, черное, на речку, вскрывшуюся из-под льда от взрывов и крови. Народ возле хутора был все больше пеший, рядовой, и каждый сейчас говорил сам себе: "Не дай бог попасть в такое вот..."

Филькин начал угощать всех без разбора душистыми трофейными сигаретами, балагурил, развлекал народ, молотил кулаком по спинам, сулился прислать кухню, полную каши, и водки раздобыть не по наличию людей, по списочному составу, и к орденам представить всех до одного - герои! Он бы еще много чего наобещал, но его позвали к телефону.

Вернулся Филькин из бани не такой уж веселый. Выгрызая из обгорелой кожуры картофельную мякоть, он повернулся карманом к Борису и, когда тот достал себе обугленную картофелину, мотнул головой и усмехнулся:

- Это вместо обещанной каши. Оставь старшину за себя. Пойдем получать указания. Нет нам покоя, и скоро, видимо, не будет.- Он вытер руки о полушубок, полез за кисетом.- Возьми Корнея или пузырька своего. Мой кавалер опять куда-то провалился! Ну он у меня дофорсит! Я его откомандирую к вам, ты ему лопату повострее, ружье побольше, котелок поменьше...

- Это мы можем, это - пожалуйста!..

Борис взял и Корнея Аркадьевича, и Шкалика. Он хотел обойти поле, двинулся было на окраину хутора, но Филькин ухнул до пояса и уже за оврагами, выбирая снег из карманов, вяло ругался:

- Войну на войне все равно не обойдешь...

На поле, в ложках, в воронках, особенно возле изувеченных деревцев, возле темно шевелящейся речки, кучами лежали убитые, изрубленные, подавленные гусеницами немцы. Попадались еще живые, изо рта их шел пар. Они хватались за ноги, ползли следом по снегу, истолченному, опятнанному кровью.

"Идем в крови и пламени, в пороховом дыму",- совсем упившись, не пел, а рычал иногда Мохнаков какую-то совсем уж дремучую песню времен гражданской войны. "Вот уж воистину!.."

Обороняясь от жалости и жути, запинаясь за бугорки снега, под которыми один на другом громоздились коченелые трупы, Борис зажмурился глазами: "Зачем пришли сюда?.. Зачем? Это наша земля! Это наша родина! Где ваша?"

Корней Аркадьевич, в поясице словно бы перешибленный стягом, оперся на дуло винтовки:

- Неужели еще повторится такое? Неужели это ничему людей не научит? Достойны тогда своей участи...

- Не вякал бы ты, мудрец вшивый! - процедил сквозь зубы комроты Филькин.

Борис черпал рукавицею снег, кормил им позеленевшего Шкалика.

- Боец! - кривился, глядя на Шкалика, комроты Филькин. - Ему бы рожок с молочком!

На окраине села, возле издолбленной осколками, пробитой снарядами колхозной клуни, крытой соломой, толпился народ. У широко распахнутого входа в клуню нервно перебирали ногами тонконогие кавалерийские лошади, запряженные в крестьянские дровни. И откуда-то с небес или из-под земли звучала музыка, торжественная, жуткая, чужая. Приблизившись ко клуне, пехотинцы различили - народ возле клуни толпился не простой: несколько генералов, много офицеров, и вдруг обнаружился командующий фронтом.

- Ну нанесла нас нечистая сила...- заворчал комроты Филькин.

У Бориса похолодело в животе, потную спину скоробило: командующего, да еще так близко, он никогда не видел. Взводный начал торопливо поправлять ремень, развязывать тесемки шапки. Пальцы не слушались его, дернул за тесемку, с мясом оторвал ее. Он не успел заправить шапку ладом. Майор в желтом полушубке, с портупеей через оба плеча, поинтересовался - кто такие?

Комроты Филькин доложил.

- Следуйте за мной! - приказал майор.

Командующий и его свита посторонились, пропуская мимо себя мятых, сумрачно выглядевших солдат-окопников. Командующий прошелся по ним быстрым взглядом и отвел глаза. Сам он, хотя и был в чистой долгополой шинели, в папаше и поглаженном шарфе, выглядел среди своего окружения не лучше солдат, только что вылезших с переднего края. Глубокие складки отвесно падали от носа к строго и горестно сжатым губам. Лицо его было воскового цвета, смятое усталостью. И в старческих глазах, хотя он был еще не старик, далеко не старик, усталость, все та же безмерная усталость. В свите командующего слышался оживленный говор, смех, но командующий был сосредоточен на своей какой-то неизвестной мысли.

И все звучала музыка, нарастая, хрипя, мучаясь.

По фронту ходили всякого рода легенды о прошлом и настоящем командующего, которым солдаты охотно верили, особенно одной из них. Однажды он якобы напоролся на взвод пьяных автоматчиков и не отправил их в штрафную,

а вразумлял так:

- Вы поднимитесь на цыпочки - ведь Берлин уж видно! Я вам обещаю, как возьмем его - пейте сколько влезет! А мы, генералы, вокруг вас караулом стоять будем! Заслужили! Только дюжьте, дюжьте...

- Что это? - поморщился командующий.- Да выключите вы ее!

Следом за майором стрелки вошли в клуню, проморгались со свету.

На снопах блеклой кукурузы, засыпанной трухой соломы и глиняной пылью, лежал мертвый немецкий генерал в мундире с яркими колодками орденов, тусклым серебряным шитьем на погонах и на воротнике. В углу клуни, на опрокинутой веялке, накрытой ковром, стояли телефоны, походный термос, маленькая рация с наушниками. К веялке придвинуто глубокое кресло с просевшими пружинами, и на нем - скомканный клетчатый плед, похожий на русскую бабью шаль.

Возле мертвого генерала стоял на коленях немчик в кастрюльного цвета шинели, в старомодных, антрацитно сверкающих ботфортах, в пилотке, какую носил еще Швейк, только с пришитыми меховыми наушниками, а перед ним на опрокинутом ящике хрипел патефон, старик немец крутил ручку патефона, и по лицу его безостановочно катились слезы.

Майор решительно снял трубку с пластинки. Немец старик, сверкая разбитыми стеклами очков, так закричал на майора, что затряслись у него мешковатые штаны, запрыгала желтая медалька на впалой груди и вдруг высыпались последние мелкие стекла из очков, обнажив почти беззрачные облезлые глаза.

- Зи дюрфэн нихт,- наступал немчик на майора: - Конвенцион... Вагнер...

Ди либлингмузик вом генераль... Ди тотэн хабэн кайнен шутц! Ди тотэн флэен ум гнадэ ан! Зи дюрфен них!^[1].

^[1] - Вы не смеее... Любимая музыка генерала... Мертвые не имеют защиты! Мертвые взывают к милости! Вы не смеее! (нем.)

Переводчица в красиво сидящем на ней приталенном полушубке, в шапке из

дорогого меха, в чесаных валеночках, вся такая кудрявенькая, нарядненькая, вежливо приобняла немчика, отводя его в сторону и воркуя:

- Ист дас аух ди либлингмузик вом фюрер?

- Я, я. Майн фюрер... мэг эр инс грас байсэн!^[2]

^{2]} - [Это и фюрера любимая музыка? - Да, да. Мой фюрер... чтоб он сдох! (нем.)

- Эр вирд, вирд балд крэпирен унд дан вэрдэн тагс унд нахтс Вагнер, Бах, Бетховен унд андэрэ дейчен генос-сен эрклингэн, ди траурэнмузик ломпонирэн кенэн...^[1]

1 - Сдохнет скоро, сдохнет, тогда день и ночь буду!, лпучшь Вагнер, Бах, Бетховен и все им подобные немецкие товарищи, умеющие сочинять похоронную музыку... (нем.).

- О, фрау, фрау,- закачал головой немец. - Об дэр готт ин дэр вельт эксистиерт?^[2] - и, припавши к ножкам кресла, начал отряхивать пыль и выбирать комочки глины из ковра, желая и не смея приблизиться к мертвому генералу.

2 - О, фрау, фрау!.. Есть ли в мире Господь? (нем.)

В разжавшейся, уже синей руке генерала на скрюченном пальце висел пистолет. И не пистолет, этакая дамская штучка, из которой мух только и стрелять. И кобура на поясе была игрушечная, с гербовым тиснением. Однако из этого вот пистолета генерал застрелил себя. На груди его, под орденскими колодками и знаками различий, давленной клюквиной расплылось пятнышко. Генерал был худ, в очках, с серым, будто инеем взявшимся лицом. В полуоткрытом рту его виднелась вставленная челюсть. Очки не снялись даже

после того, как он упал. Седую щетку усов под носом прочертила полоска крови, тоже припорошенная пылью. Косицы на лбу генерала прокалились, обнаружив угловатый череп с глубокими залысинами. Шея выше стоячего воротника мундира была в паутине морщин и очернившихся от смерти жилок. Клещом впился в нее стальной крючок.

- Командующий группировкой,- разъяснил майор,- не захотел бросить своих солдат, а рейхскомиссар с высшим офицерем удрал, сволочь! Разорвали кольцо на минуты какие-то и в танках по своим солдатам, подлецы!.. Неслыханно!

- Таранили и нас - не вышло! - не к месту похвастался Филькин и смешался.

Майор с интересом посмотрел на него, собирался что-то спросить, но в это время за клуней загрохотал танк и просигналила машина.

- Мешок железных крестов прислал фюрер погибающим солдатам. Вот они. Раздать не успели.- Майор попинал брезентовый мешок с железными застежками и покачал головой:- О боже, есть ли предел человеческого безумия?!

Корней Аркадьевич с интересом посмотрел на майора и собрался вступить с ним в разговор, но в это время уже раздраженно засигналила машина.

Майор велел нести генерала. Борис из-подо лба глянул на щеголеватого одетого, чисто выбритого офицера. "Фронтowej барин! Надорваться опасается! Всю грязную работу нам..."

Филькин высвободил из руки генерала пистолет и протянул его майору. Глаза майора забегали: ему, видать, хотелось взять пистолет генерала и похвастаться перед штабными девицами таким редкостным трофеем. Но тут же истуканом стоял хмурый, костлявый солдат, щенком дрожал зеленый парнишка в горбатой шинели, с откровенной неприязнью глядел лейтенант с оторванной тесемкой у шапки - голодный, злой лейтенантишко.

- Да на кой мне такое орудье?! - небрежно отмахнулся майор.- Отдай вон ему - в память о благодетеле.- Майор, брезгливо сморщась, помогал старикашке немчику подняться с колен.- Или вон ей,- кивнул он на переводчицу.

- А что! Я не против,- не расслышав неприязни в голосе майора, завела глаза под зачерненные ресницы переводчица: - Исторический экспонат!..

Но комроты Филькин словно и не слышал, и не видел военную барышню. Он со щелчком вынул обойму из пистолетика и запустил ее в угол, за веялку, вспугнув оттуда стайку затаившихся воробьев, после чего, словно бабку, подкинул пистолетик к ногам старика немца. Тот не брал пистолетик, пятился, и тогда переводчица снова взяла его под руку и запела, заворковала что-то теплое, нежное, бархатисто-чувствительное, не переставая в то же время стрелять глазами во все густеющее офицерье, с удовольствием отмечая, что ее видят и уже любят глазами.

Старик клюнул носом в поклоне, цапнул сухими птичьими лапками пистолетик, прижал к груди, будто икону: "Данке! Данке шен",- он тут же спохватился, догнал пехотинцев, неловко тащивших деревянное тело генерала, стянул с головы швейковскую пилотку. Волосы на нем росли клочковато, весь он, словно древняя плюшевая вещица, побитая молью. Суетясь вокруг стрелков, забегая то слева, то справа, что-то наговаривал выходец из пыльных веков, пытался помогать нести своего господина. По рыхлым щекам старика все попрыгивали слезы.

Смекалистые, бесстрашные фронтовые воробьи спорхнули на веялку и нырнули в нее, как только люди удалились.

Возле клуни ждал "студебеккер" с открытым бортом, прицепленный к танку. Солдаты прицелились затолкнуть покойника в кузов, но старенький немец, петушком подпрыгивая и ловясь за доски, лез в машину. Майор посадил его, и солдат снова закланялся, забормотал что-то благодарственное, заискивающее.

Приняв бережно голову генерала, он волоком подтащил покойника к кабине, ногой раскатал пустые артиллерийские гильзы и, подсунув свою пилотку, опустил на нее затылком своего господина. Девушка-переводчица бросила в кузов высокий нарядный картуз. Ловко, точно вратарь, упав на одно колено, старикашка немец его изловил.

- Данке шен, фройляйн! - не забыл он учтиво поклониться переводчице и надел картуз на своего господина. Сразу из жалкого старика-покойника генерал превратился в важного сановитого мертвеца.

Командующий фронтом был уже возле саней, в голове которых на коленях стоял пожилой автоматчик, туго намотав вожжи на кулаки.

- Разумовский! - позвал командующий. Майор, руководящий погрузкой мертвого генерала, метнулся к саням.

- Су-шусь, та-рищ-рал! - как на параде, рявкнул майор.

Старикашка немец поднял голову, молитвенно сложив птичьи лапки, закатив глаза в небо, вежливо прося тишины.

Командующий с досадой шмыгнул носом и повелительно приказал:

- Схоронить генерала, павшего на поле боя, со всеми воинскими почестями: домовину, салют и прочее. Хотя прочего не можем.- Командующий отвернулся, опять пошмыгал носом.- Попов на фронте не держим. Панихиду по нему в Германии справят. Много панихид.

Кругом сдержанно посмеялись.

- Его собакам бы скормить за то, что людей стравил. За то, что Бога забыл.

- Какой тут Бог? - поник командующий, утирая нос рукавицей.- Если здесь не сохранил,- потыкал он себя рукавицей в грудь: - Нигде больше не сыщешь.

Борису нравилось, что сам командующий фронтом, от которого веяло спокойной, устоявшейся силой, давал такой пример благородного поведения, но в последних словах командующего просквозило такое запекшееся горе, такая юдоль человеческая, что ясно и столбу сделалось бы, умей он слышать, игра в благородство, агитационная иль еще какая показуха, спектакли неуместны, после того, что произошло вчера ночью и сегодняшним утром здесь, в этом поле, на этой горестной земле. Командующий давно отучен войной притворяться, выполнял он чей-то приказ, и все это было ему не по нутру, много других забот и неотложных дел ждало его, и он досадовал, что его оторвали от этих

дел. Мертвых и плененных генералов он, должно быть, навидался в досталь, и надоело ему на них смотреть.

Чего он приволокся, этот сановитый чужеземец, в заснеженную Россию? Улегся в этой колхозной клуне, на кукурузных снопах. Почему не принял капитуляцию? Стратег! Душа его, видать, настолько отупела, что он разучился ценить человеческую жизнь. Долг? Страх? Равнодушие? Что руководило им? Почему он не застрелился раньше? Человек свободен в выборе смерти. Может быть, только в этом и свободен. Если этот руководящий немец не мог достойно жить, мог бы ради солдат, соотечественников своих, ради детей их, наконец, умереть раньше, умереть лучше. Он же знал, старый вояка, что группировка обречена, что надеяться на чудо и на Бога - дело темное, что у побежденных завоевателей не бывает даже могил и все, что ненавистно людям, будет стерто с земли. Чему он служил? Ради чего умер? И кто он такой, чтобы решать за людей - жить им или умирать?

Переводчица охотно, даже с умилением, перевела приказ командующего о погребении генерала, не расслышав все остальное, и старикашка немец, поднявшись в кузове, подобострастно начал кланяться командующему, прижав к животу свои лапки, и твердить привычную фразу, намертво засевшую в холуйской голове:

- Данке! Данке, шен, герр генерал...

Командующий что-то буркнул, резко отвернулся, натянул папаху на уши и по-крестьянски, бережно подоткнув полы шипели под колени, устроился в санях. Что-то взъерошенное и в то же время бесконечно скорбное было в узкой и совсем не воинственной спине командующего, и даже в том, как вытирал он однопалой солдатской рукавицей простуженный нос, виделась человеческая незащищенность. Так и не обернувшись больше, он поехал по полю. Сани качало и подбрасывало на бугорках, обнажало трупы и остатки трупов.

Кони вынесли пепельно-серую фигуру командующего на танковый след и побежали бойчее к селу, где уже рычали, налаживая дорогу, тракторы и танки.

И когда за сугробами скрылись лошади и тоскливая фигура командующего, все долго и подавленно молчали.

- С ординарцем-то что делать - не спросили? - прервала молчание переводчица и снова многозначительно округлила красивые, подведенные глаза.

- А-а, пусть остается при своем хозяине,- раздраженно уронил майор Разумовский и закрыл борт кузова.- Не мне же обмывать этого красавца! - и повернулся к пехотинцам.- Можете быть свободны, ребята. Спасибо!

- Не на чем! - ответил за всех Филькин и потопал со своим воинством отыскивать командира полка.

Танк с прицепленной к нему машиной скоро их обогнал. Шофер машины, которого сорвали с рейса, рывками крутил руль, закусивши в углу рта мокрую сигарку, и чего-то сердито говорил майору Разумовскому, мотая головой на кузов, где громыхали, катаясь, медные артиллерийские гильзы и старикашка немец оборонял от них покойного господина. Майор что-то отвечал шоферу и приветливо поднял руку в кожаной перчатке, прощаясь с пехотинцами, сошедшими в целик. Переводчица, стоявшая в кузове, даже глазочком не зацепилась за них.

- Лахудра! - Филькин звучно плюнул вслед машине. Шагнув в колею, пробитую танком, он брезгливо скривился: - Вонь от этого генерала или от этого денщика! В штаны они наклали, что ли?

Никто не поддержал разговора. Усталость, всегда наваливающаяся после боя, клонила всех в забытье, в сон. Неодолимо хотелось лечь тут же на снег, скорчиться, закрыть ухо воротником шинели и выключиться из этой жизни, из стужи, из себя выключиться.

А в хуторе людно и тесно. Набились туда толпы пленных. Среди них сновал Мохнаков, оживленный, со сдвинутой на затылок шапкой.

- Старшина! - звонко крикнул Борис. Мохнаков неохотно вылез из гущи пленных, заталкивая что-то в карманы.

- Ну, что ты орешь? - зашипел он.- Перемерзли все, как псы!

- Отставить!

- Отставить так отставить,- потащился за ним старшина и, думая, что у лейтенанта все еще со слухом не в порядке, выругался: - Откель и взялся на нашу голову?!

Одно желание было у Бориса: скорей уйти из этого расхлопанного хутора, от изуродованного, заваленного трупами поля подальше, увести с собой остатки взвода в теплую, добрую хату и уснуть, уснуть, забыться.

Но не все еще перевидел он сегодня.

Из оврага выбрался солдат в маскхалате, измазанном глиной. Лицо у него было будто из чугуна отлито - черно, костляво, с воспаленными глазами. Он стремительно шел улицей, не меняя шага свернул в огород, где сидели вокруг подожженного сарая пленные, жевали что-то и грелись.

- Отдыхаете культурно? - пророкотал солдат и начал срывать через голову ремень автомата. Сбил шапку на снег, автомат запутался в башлыке маскхалата, он рванул его, пряжкой расцарапало ухо.

Немцы отвалились от костра, парализованно наблюдая за солдатом.

- Греетесь, живодеры! Я вас нагрею! Сейчас, сейчас...- Солдат поднимал затвор автомата срывающимися пальцами, Борис кинулся к нему и не успел. Брызнули пули по снегу, простреленный немец забился у костра, выгибаясь дугой, другой рухнул в огонь. Будто вспугнутые вороны, заорали пленные, бросились в рассыпную, трое удирали почему-то на четвереньках. Солдат в маскхалате подпрыгивал так, будто подбрасывало его землю, скаля зубы, что-то дикое орал он и слепо жарил куда попало очередями.

- Ложись! - Борис упал на пленных, сгребал их под себя, вдавливая в снег.

Патроны в диске кончились. Солдат все давил и давил на спуск, не переставая кричать и подпрыгивать. Пленные бежали за дома, лезли в хлев, падали, проваливаясь в снег. Борис вырвал из рук солдата автомат. Тот начал шарить на поясе. Его повалили. Солдат, рыдая, драл на груди маскхалат.

- Маришку сожгли-и-и! Селян в церкви сожгли-и-и! Мамку! Я их тыщу...

Тыщу кончу! Гранату дайте! Резать буду, грызть!..

Мохнаков придавил солдата коленом, тер ему лицо, уши, лоб, греб снег рукавицей в перекошенный рот. Солдат плевался, пинал старшину.

- Тихо, друг, тихо!

Солдат перестал биться, сел, озираясь, сверкая глазами, все еще накаленными после припадка. Разжал кулаки, облизал искусанные губы, схватился за голову и, уткнувшись в снег, зашелся в беззвучном плаче. Старшина принял шапку из чьих-то рук, натянул ее на голову солдата, протяжно вздохнул, похлопал его по спине.

...В ближней полуразбитой хате военный врач с засученными рукавами бурого халата, напяленного на телогрейку, перевязывал раненых, не спрашивая и не глядя - свой или чужой.

И лежали раненые вповалку - и наши, и чужаки, стонали, вскрикивали, плакали, иные курили, ожидая отправки. Старший сержант с наискось перевязанным лицом, с наплывающими под глаза синяками, послынявил сигарку, прижег и засунул ее в рот недвижно глядевшему в пробитый потолок пожилому немцу.

- Как теперь работать-то будешь, голова? - невнятно из-за бинтов бубнил старший сержант, кивая на руки немца, замотанные бинтами и портянками.- Познобился весь. Кто тебя кормить-то будет и семью твою? Хюрер? Хюреры, они накормят!..

В избу клубами вкатывался холод, сбегались и сползались раненые. Они тряслись, размазывая слезы и сажу по ознобелым лицам.

А бойца в маскхалате увели. Он брел, спотыкаясь, низко опустив голову, и все так же затажно и беззвучно плакал. За ним с винтовкой наперевес шел, насупив седые брови, солдат из тыловой команды, в серых обмотках, в короткой прожженной шинели.

Санитар, помогавший врачу, не успевал раздевать раненых, пластать на

них одежду, подавать бинты и инструменты. Корней Аркадьевич включился в дело, и легко раненный немец, должно быть, из медиков, тоже услужливо, сноровисто начал обихаживать раненых.

Рябоватый, кривой на один глаз врач молча протягивал руку за инструментом, нетерпеливо сжимал и разжимал пальцы, если ему не успевали подать нужное, и одинаково угрюмо бросал раненому:

- Не ори! Не дергайся! Ладом сиди! Кому я сказал, ладом!

И раненые, хоть наши, хоть исчужа, понимали его, послушно, словно в парикмахерской, замирали, сносили боль, закусывая губы.

Время от времени врач прекращал работу, вытирал руки о бязевую онучу, висевшую у припечка на черепке ухвата, делал козью ножку из легкого табака. Он выкуривал ее над деревянным стиральным корытом, полным потемневших бинтов, рваных обутков, клочков одежды, осколков, пуль, желтых косточек. В корыте смешалась и загустела брусничным киселем кровь раненых людей, своих и чужих. Вся она была красная, вся текла из ран, из человеческих тел с болью. "Идем в крови и пламени, в пороховом дыму".

Топилась щелястая, давно не мазанная печь. Горели в ней обломки частокола, ящики из-под снарядов. Дымно было в избе и людно.

Врач, из тех вечных "фершалов", что несут службу в лесных деревушках или по старым российским городишкам, получая малую зарплату, множество нагоняев от начальства и благодарностей от простолюдыя, коему он драл зубы, вырезал грыжи, спасал баб от самоабортов, боролся с чесоткой и трахомой,- врач этот высился над распластавшимися у его ног людьми, курил, помаргивал от дыма, безразлично глядя в окно, и ничего его вроде бы тут не касалось. Выше побоища, выше кровопролития надлежало ему оставаться и, как священнику во время панихиды, "быв среди горя и стенаний", умиротворять людей спокойствием, глубоко спрятанным состраданием.

Корнея Аркадьевича трясло, постукивали у него зубы, он, вытирая снегом руки, когда вышли из избы, завел:

- Вот чем она страшна! Вот чем! В крови по шею стоит человек, глазом не моргнет...

- Ничего вы не поняли! Зудите, зудите...- Борис чуть было не сказал: врачу, мол, этому труднее, чем тебе, Ланцов. Ты свою боль по ветру пускаешь, и цепляется она репьем за другие души. Но он вспомнил и сказал совсем о другом: - Мохнаков где?

- Умотал куда-то,- пряча глаза, отозвался Шкалик. "Вот еще беда!"-Борис вытер мокрые руки о полы шинели, потащил из кармана рукавицы.

- Идите во вчерашнюю избу, займут ее. Я скоро...

В оврагах, жерласто открытых, сверху похожих на сваленные ветвистые ели, в подмоинах ручья все изрыто, искромсано бомбами и снарядами. В перемешанной глине и снегу валялись убитые кони, люди, оружие, колеса, банки, кружки, фотокарточки, книжки, обрывки газет, листовок, противогазы, очки, шлемы, каски, тряпки, одеяла, котлы и котелки, даже пузатый тульский самовар лежал на боку, иконы с русскими угодниками, подушки в деревенских латаных наволочках-все разорвано, раздавлено, побито все, ровно бы как после светопреставления,- дно оврагов походило на свежую лесосеку, где лес порублен, увезен, остались лишь ломь, пенья, обрубки. Трупы, трупы, забросанные комьями земли, ворохами сена. Многие трупы уже выкорчеваны из сугробов, разуты, раздеты. У совсем уж бедных мертвецов вывернуты карманы, оборванные вместе с цепочками, сдернуты с ниток нательные кресты. Здесь уже попаслись, пострадавали стервятники-мародеры. Вокруг каждого растерзанного до шкуры, до гривы и хвоста разобранного остова мертвого коня густая топонина, отпечатки солдатской обуви, вороньих лап, собачьих или волчьих следов. И всюду, в ухоронке, под навесами оврагов, малые костерки, похожие на черные язвочки. Возле одного костерка на корточках сидел немец, замотанный в тряпки, перед ним на винтовке, воткнутой штыком в снег, котелок с черным конским копытом. Солдат совал под котелок горсточку сухого бурьяна, щепочки, отструг-нутые от приклада винтовки, в надежде сварить еду, хлебнуть

горячего - так они вместе и остыли, костерок и солдат, которому даже и упасть некуда было, снег запалил его со всех сторон, сделался белой ему купелью. "Вот сюда бы Гитлера приволочь полюбоваться на это кино".

К убитому немецкому офицеру вел след новых, вовнутрь стоптанных валенок. Борис загреб снегом лицо покойного с разъятой, разорванной пастью, забитой кроваво смерзшейся кроткой, и пьяно побежал вниз по оврагу, уже не останавливаясь возле выкорчеванных трупов.

В глубине оврага, забросанная комьями глины, лежала убитая лошадь. Во чреве ее рылась собака, вжимая хвост в облезлые холки. Рядом прыгала хромая ворона. Собака, по-щенячьи твякая, бросалась на нее. Ворона отлетала в сторону и ждала, чистя клюв о снег.

Взгляд собаки неведомой породы, почти голотелой, с наборным, вяло болтающимся ошейником, был смутен и дик. Собака дрожала от холода, алчности. Длинными, примороженными, что капустные листья, ушами да дорогим ошейником она еще напоминала пса редких кровей из какого-нибудь благопристойного рейнского замка.

- Пошла! Цыть! Пошла! - затопал Борис и расстегнул кобуру.

Собака отскочила, вжав хвост еще глубже в провалившийся зад, и уже не по-щенячьи затыкала, а раскатисто зарычала, обнажив источенные зубы. Она щерилась, одновременно слизывая сукровицу с редких колючек, обметавших морду, и все дрожала, дрожала обвислой голой кожей, под которой было когда-то барски холеное тело. Ворона, сидя на козырьке оврага, перестала чистить клюв в снегу, воззрясь на человека и собаку, внезапно закаркала призывно, перевозбужденно.

Борис опасливо обошел собаку и, не переставая оглядываться, поспешил в глубь оврага. Ворона, проводив его поворотом головы, спорхнула вниз и смолкла. Борис облегченно снял руку с пистолета.

За ближним поворотом оврага, в вершинке его, поросшей чернобыльником, крапивой, кустарником, сплошь выломанным на топливо, Борис увидел шустро

орудующего кузнечными щипцами человека. По горбатой спине, по какой-то пакостной, песьей торопливости он узнал, кто это и что делает. Борис хотел закричать, но сведенные губы зашевелились сперва с шипом, потом, словно пар пробивши, пошел изнутри взводного скулеж, собачий, сдавленный.

Старшина резко обернулся. Лицо его начало бледнеть. Он следил за рукой лейтенанта - не полезет ли тот в кобуру. По Борис не двигался, даже не моргал. Все так же резиново шевелились его обескровленные губы, задержалось горло в пупырышках, зачерненных грязью. Старшина бросил в снег ржавые щипцы, валенком забросал разъятый рот мертвеца.

- Ну что ты, что ты? - подойдя, похлопал он Бориса: - Не бойсь, тут все свои.

- Не прикасайся ко мне!

- Да не прикасаюсь, не прикасаюсь,- отступил старшина, прикрывая будничностью тона смятение, может, и страх.- Бродишь, понимаешь... Враг кругом... Мины кругом... Может рвануть, а ты бродишь...

Взводный переломился в пояснице и, волоча ноги, почти касаясь руками снега, подошел к стене оврага, лбом привалился к мерзлой, пресно пахнувшей земле. Горло его порезанно дергалось, выжимая клейкую слюну. С теменью в глазах стоял он и отходил от оморочи, вытирая рукавом губы. Глянул на небо, стоял какое-то время, ничего не понимая, но различил свет и пошел на него. Все колыхалось перед ним, он упал в воронку, стукнулся о мерзлые комья и от боли очнулся.

Два окоченелых эсэсовца сидели в глубокой бомбовой воронке и в упор смотрели на него судачьими глазами. Лейтенант забился, замычал, срывая ногти, пытался вылезть наверх.

Мохнаков плеснул в рот чего-то горячего и этим горячим словно бы прочно заткнул дыру в мерзло дребезжащем нутре Бориса. Что-то скребло его, отдавалось в ушах - он глядел, не понимая. Старшина ножом очищал шинель на нем.

- Не... не... не...

- Экий ты, ей-богу какой! - старшина с досадой щелкнул трофейным ножом.- Война ведь это война - не кино! Пойми ты! Тут, видал? Голый голого тянет и кричит: "Рубашку не порви!" - принявшись по-собачьи, старшина совсем уж обыденно закончил:- Славяне борова палят! Пищу варят, бани топят... Живой о живом... А ты? - он громко высморкался, достал кисет. Кисета у него оказалось два: один красный, из парашютного шелка, другой холщовый, с кисточками, вышитый кривыми буквами. Какие-то далекие и милые девчушки посылали такие кисеты на фронт с трогательными надписями: "Давай закурим!", "На вечную память и верную любовь!", "Любовь моя хранит тебя!"...

Старшина раздернул тесемки на красном кисете, поднес его под нос взводному. В кисете были колечки с примерзшей к ним кожей, золотые зубы, вывернутые вместе с окровенелыми корнями, ладанки, крестики, изящный портсигар.

- Видал? Нюхай вот. И молчи.

Борис словно вывернутой, слабой рукой отводил, отталкивал от себя кисет.

- Нет, ты смотри, смотри, мотай на ус.

- Да не хочу я этого видеть, не хочу! - через продолжительное время, подавленно, но внятно заговорил Борис.- Зачем тебе это?

- А ты будто и не знаешь?

- Догадываюсь. Ребята уже давно заметили неладное. Пафнутьев раньше всех. Да я-то не верил.

- Теперь поверишь! - старшина харкнул в снег.- Курить будешь? И не надо, не учись. Храни здоровье. И честь смолоду. Ох-хо-хо-хо-ооо! Ох-хо-хо-хо-ооо,- вдруг захохотал, завыл, заохал старшина и, упав на землю, начал биться лицом в мерзлые комки: - Ох, война, ох, война, ох, война-а-а, война-а-а, па-адла-а-ааа! Ох, блядь!..

- Мохнаков! Мохнаков! - топтался вокруг него Борис.- Да Мохнаков!

Перестань! Ну что ты, ей-богу. Ну перестань! Ну, старшина же...

Когда, из чего, чем развели они огонек, Борис помнил плохо, но тепло почувал. Потянул к нему руки, морщась от кислого бурьянного дыма, приходил в себя. Воткнув на винтовочные шомпола по куску полузамерзшего кислого хлеба, старшина отогревал хлеб, отогревался сам и отдаленно, глухо повествовал:

- Я, паря, землячок мой дорогой, в тятю удался. Он у меня, родимай, все хвалился, что с пятнадцати лет к солдаткам хмель-пиво пить ходил, а я, паря, скромнее был его: только в шестнадцать оскоромился. В семнадцать тятка давай меня женить скорее, а то, говорит, убьют, обормота, мужики, иль бабы от любви задушат. В восемнадцать у меня уж ребенок в зыбке пищал и титьку требовал. В девятнадцать второй появился, да все девки - Зойка, Малашка, я уж парня начал выкраивать да вытачивать, да тут меня - хоп и в армию, и с тех пор я, почитай, дома и не видел. В отпуске после Халхин-Гола был, и все. Правда, парня все-таки успел за отпуск смастерить - мастак я на эти дела, о-ох, мастак! Мне вот юбку на бочонок с селедкой надень или платье на полевую кухню надень и скажи - баба, дай выпить - и полезу, никакой огонь меня не остановит!

Хлебушек совсем раскис, но был горяч, пах дымом, хрустел угольком, тепло расходилось по нутру.

- ...Тебе уже двадцатый,- напрягся слухом Борис,- но ты еще и не знаешь, куда она комлем лежит. Немцам вон и бордели, и отпуски... а у нас потаскушку свалишь - и праздник тебе.

"Чего это он? - снова заставил себя слушать Борис.- А-а, про баб опять..."

- К потаскушкам бы и приставал. Зачем же к честной женщине-то лезешь? Озверел?

- Все они честные. Такая вот "честная" и наградила трофейным добром. Столько поубито и столько сведено народу, чего там какая-то бабенка... А ты бы вправду застрелил бы меня? - испытывающе, сбоку глядел Мохнаков на

лейтенанта.

- Да!

Старшина скрипуче крякнул, затаился сигаркой, выпустил себе в глаза дым.

- Светлый ты парень! Почитаю я тебя.- Мохнаков пальцами раздавил сигарку, вытер руку об валенок.- За то почитаю, чего сам не имею... Э-эх. Шибко ты молод. Не понять тебе. Весь я вышел. Сердце истратил... И не жаль мне никого. Мне и себя не жаль. Не вылечусь я. Не откуплюсь этим золотом. Так это. Дурь, блажь. Баловство.

Чувствуя себя совсем виноватым, Борис произнес:

- Может, попросить полкового врача?.. Я бы... мог...

- Ду-ура! Не суйся уж куда тебя не просят!.. Эх ты, Боря, Боря, разудала голова! Меня ж в штрафную запердят.

- В штрафную?

- Ну а куда же еще?

- Да за что в штрафную-то?

- За смелость. Понял?

- Пойдем отсюда, Мохнаков, а? Пойдем!

Старшина хотел стряхнуть снег и землю с обвислой спины лейтенанта, руку уж было протянул, но спохватился, убрал руку, еще запоем: "Не... не... не..."

По слепому отростку оврага, до краев забитому ярко-белым, рыхлым снегом, пер старшина с выпущенными поверх валенок брюками, торил дорогу. Во всей его с размаху, топором рубленной фигуре, в спине, тугой, как мешок с мукою, и в крутом медвежьем загривке, чудилось что-то сумрачное. В глубине его, что в тайге, которая его породила, угадывалось что-то затаенное и жутковатое, темень там была и буреломиик.

Борису даже и не хотелось привыкать к мысли, что такого диковинной силы человека можно потерять из-за пустяка. Богатырь и умирать должен

по-богатырски, а не гнить от паршивой болезни морально ущербных морячков и портовых проституток. Старшина начал отступать еще с границы, не однажды валялся в госпитале, знал холод, окружения, прорывы, но в плен не угодил. Везло, говорит, и, наверное, оттого везло, что придерживался старинного правила русских воинов - лучше смерть, чем неволя.

Старшина вжился в войну, привык к ней и умел переступить те мелочи, которые часто бывают не нужны на войне, вредны фронтовой жизни. Он никогда не говорил о том, как будет жить после войны. Он мог быть только военным, умел только стрелять и ничего больше. Так думалось о нем. А что теперь? Что дальше?

Борис уткнулся в жестяную твердь полушубка Мохнакова. Старшина остановился у среза земли, упершись во что-то глазами. Лейтенант проследил за взглядом Мохнакова. Втиснувшись задом в норку, выдолбленную в стене оврага, толсто запаленного снегом, сидел немец. Рукавица с кроликовой оторочкой была высунута из снега и на ней лежали часы. Дешевенькие, штампованные часы швейцарской фирмы, за которые больше литра самогона цивильные люди не давали.

Старшина валенком разгреб ноги немца. Снег наверху был чист и рассыпчат, но внизу состылся в кровавые комки. Ноги немца, игрушечно повернутые носками сапог в разные стороны, покоились ровно бы отдельно от человека.

Немец дернулся к старшине, но тут же перевел тусклый взгляд на Бориса, шевельнул обметанным щетиной ртом:

- Хифе... Хильфе...

Под недавней, остренькой, но уже седой щетиной шелушились коросты, впалые щеки земляно чернели, всюду: в коростах, в бровях и даже в ресницах - копошились, спешили доесть человека вши.

- Хильфе! Хильфе!.. За мир битте... реттен зи мих...

- Чего он говорит?

- Просит спасти.

- Спаси! - Мохнаков покачал головой.- С двумя-то перебитыми лапами? - старшина снова отхаркнулся в снег.- Своих с такими ранениями хоронить сегодня будем...

Борис начал без надобности заправлять шинель, шарить руками по поясу.

Немец ловил его взгляд:

- Реттен зи виллен... Хильфе...

- Иди-ка отсудова, лейтенант.

- Ты что? Ты что задумал?

- Я тебе сказал - иди! - снимая с плеча автомат, повторил Мохнаков.- И не оглядывайся.

Борис понимал - немец обречен, иначе такой живучий человек примет еще столько нечеловеческих мук, и самая страшная и последняя мука, когда твари ползучие доедают человека. Добивши этого горемыку, Мохнаков сотворит большую милость, иначе они будут спускаться по остывающему телу, с головы, из ушей, бровей под одежду, облепит пояс, кишеть будут под мышками и, наконец, в комок собьются в промежности, будут жрать бесчувственное тело, пока оно еще теплое, потом сыпанут с него серой пылью, покопшатся и застынут вокруг трупа. Они тоже подохнут! Напьются крови, нажрутся и передохнут! Пере-до-о-ох ну т!..

Неистовое, мстительное чувство охватило Бориса, вызвало в нем прилив негодования, но голос еще живого человека, испеченный морозом, царапал сердце.

Немец вывалился из норки, дергался в снегу живым до пояса туловищем, пытался ползти за Борисом и все протягивал ему руку. Он еще надеялся выкупить свою жизнь такими крохотными, такими дешевенькими часами.

- Да иди же ты, ебут твою мать! - гаркнул Мохнаков.

Рванувшись вверх, Борис приступил полу шинели, упал и замолотил, замолотил руками и ногами, словно выбивался в плыв из давящей глубины.

Донеслось хриплое, надтреснутое завывание - так кричат в тайге
изнемогающие звери, покинутые своим табуном.

Борис прикрыл уши рукавицами, но он слышал, слышал предсмертный вой и
экономную очередь автомата, оборвавшую его.

Под ясным и холодным солнцем, окольцованным стужей, укатывающимся за
косогор, двигались люди. Снежно и тихо было вокруг, до звона в ушах.

Мохнаков догнал Бориса в поле, подвел к повозке, опрокинул ее,
вытряхнув, будто из домовины, окоченевшего раненого, хлопнул по дну повозки
ладонью, с исподу и вовсе на домовину похожей, разулся и начал вытряхивать
из валенок снег.

- Чо сидишь-то? Маму вспомнил? Переверни портянки сухим концом!

Борис стягивал валенки, вытряхивал и выбирал из них горстями снег, а в
голове его само собой повторялось и повторялось: "Больную птицу и в стае
клюют. Больную птицу..."

От хутора к местечку тянулись колонны пленных. В кюветах, запорошенных
снегом, валялись убитые кони и люди. Кюветы забиты барахлом, мясом и
железом. За хутором, в полях и возле дороги скопища распотрошенных танков,
скелеты машин. Всюду дымились кухни, уже налажены были пожарки: бочки из-под
бензина, под которыми пластался огонь; в глухо закрытых бочках, на
деревянном решетье прожаривалось белье, гимнастерки и штаны. Солдатня в
валенках, в шапках и шинелях плясала вокруг костров. Так будет полчаса.
Затем белье и гимнастерки - на себя, шинели, валенки и шайки - в бочку.

Миротворно постукивали движки. Буксовали машины. В полях темнели пятна
сгоревших скирд соломы. Возле густого бора, вздымающегося по склону
некрутого косолюбка, стояли закрытые машины и палатки санрот. Здесь
показывали кино на простыне, прикрепленной к стволам сосен. Лейтенант и
старшина немного задержались, посмотрели, как развеселый парень Антоша
Рыбкин, напевая песни, запросто дурачил и побеждал затурканных, суетливых
врагов.

Зрители чистосердечно радовались успехам киношного вояки.

Сами они находились на совсем другой войне.

"Идем в крови и пламени, в пороховом дыму".

Скрипели и скрипели шаги по снегу. Тянулись и тянулись колонны пленных по дороге, отмеченных реденькими столбами с обрезью вислых проводов, втянутых в снег. Столбы либо уронены и унесены на дрова, либо внаклон, редко-редко где одиноким истуканчиком торчал сам по себе бойкий подбоченившийся столбик.

Старшину и Бориса согнали на обочину дороги "студебеккеры". В машинах плотно, один к одному, сидели, замотанные шарфами, подшлемниками, тряпьем, пленные. Все с засунутыми в рукава руками, все согбенные, все одинаково бесцветные и немые.

- Ишь,- ругался Мохнаков,- фрицы на машинах, а мы пешком! Хочь дома, хочь в плену, хочь бы на том свете...

- Часы-то взял?

- Не, выбросил.

Вечер медленно опускался. Радио где-то слышалось. Синь проступала по оврагам, жилистой сделалась белая земля. Тени от одиноких столбов длинно легли на поля. Под деревьями загустело. Даже в кювете настоялась синь.

Ходили саперы со щупами и тоже таскали за собой синие, бесплотные тени. Поля в танковых и машинных следах. Израненная, тихая земелюшка вся перепоясана серыми бинтами. Из края в край по ней искры ходили, не остыло еще, не отболело, видать, страдающее тело ее, синими сумерками накрывало усталую, безропотную землю.

Хозяйки дома не было. Солдаты все уже спали на полу. Дневалил Пафнутьев. Морда у него подозрительно покраснелась. Ушлые глазки сияли лучезарно и возбужденно. Ему хотелось беседовать и даже петь, но Борис приказал Пафнутьеву ложиться спать, а сам примостился у печки, да так и сидел, весь остывший изнутри, на последнем пределе усталости.

Он время от времени облизывал губы, шершавые, что еловая шишка. Ни двигаться, ни думать не хотелось, только бы согреться и забыть обо всем на свете. Жалким, одиноким казался себе Борис и рад был, что никто его сейчас не видит: старшина снова остался ночевать в другой избе, хозяйка по делам, видать, куда-то ушла. Кто она? И какие у нее дела могут быть, у этой одинокой, нездешней женщины?

Дрема накатывает, костенит холодом тело взводного. Чувство гнетущего, нелегкого покоя наваливается на него. Не познанная еще, вялая мысль о смерти начинает червяком шевелиться в голове, и не пугает, наоборот, как бы пробуждает любопытство внезапной простоты своей: вот так бы заснуть в безвестном местечке, в чьей-то безвестной хате и ото всего отрешиться. Разом... незаметно и навсегда...

Было бы так хорошо... разом и навсегда.

А дальше пошло-поехало, полусон, полубред, он и сам понимал всю его нелепость, но очнуться, отогнать от себя липкое, полубредовое состояние не мог, не было сил.

Виделась ему в ломаном, искрошенном бурьяне черная баня, до оконца вросшая в землю, и он даже усмехнулся, вспомнив сибирскую поговорку: "Богатому богатство снится, а вшивому - баня..."

Вот баня оказалась на льду, под ней таяло, и она лепехой плавала в навозной жиже, соря черной сажей и фукая пламенем в трубу. Из бани через подтай мостки неизвестно куда проложены. Но мосткам, зажав веник под мышкой, опасливо пробирался тощий человек. Борис узнал себя. В бане докрасна раскаленная каменка, клоочет вода в бочке, пар, жара, но на стенах бани куржак. Человек уже не Борис, другой какой-то человек, клацая зубами рвет на себе одежду и, подпрыгивая, орет: "Идем в крови и пламени..."-пуговицы булькают в шайку с водой. Человек хлещет прямо из шайки на огненно горячую каменку. Взрыв! Человек ржет, хохочет и пляшет голыми ногами на льду, держа на черной ладони сверкающие часики, в другой руке у него веник, и он хлещет

себя, хлещет, завывая: "О-о-ох, война-а-ааа! Ох, война-а-ааа!" Весь он черный делается, а голова белая, вроде бы в мыльной пене, но это не пена, куржак это. Человек рвет волосы на голове, они не рвутся, ломаются мерзло, сыплются, сыплются. Человек выскочил из бани - мостки унесло. Прислонив руку к уху, человек слушает часы и бредет от бани все глубже, дальше - не по воде, по чему-то черному, густому. Кровь это, прибоем, валом накатывающая кровь. Человек бросает часики в красные волны и начинает плескаться, ворохами бросает на себя кровь, дико гогоча, ныряет в нее, плывет вразмашку, голова его чем дальше, тем чернее...

Никогда, наверное, ни один человек не радовался так своему пробуждению, как Борис обрадовался ему. Впрочем, было это не пробуждение, а какой-то выброс из чудовищного помутнения разума. Казалось, еще маленько, чуть-чуть еще продлить тот кошмар, и сердце его, голова, душа его или то, что зовется душой, не выдержат, возопят и разорвутся в нем, разнесут в клочья всю его плоть, все, в чем помещается эта самая человеческая душа.

"Во довоевался! Во налюбовался видами войны!" - тихая, раздавленная, зашевелилась первая мыслишка в голове Бориса после того, как он, чуть не упавши с припечка, очнулся и для начала ощупал себя, чтобы удостовериться, что он - это он, жив пока, все свое при нем, разопрел он и угорел он возле печки, растрескавшейся от перегрева.

Воинство спит, Шкалик бредит, Ланцов рукой по соломе водит - выступает, речь говорит, философствует. Пафнутьев напился-таки на дармовщинку до полных кондиций, и как хрястнулся со скамьи под стол, так там меж ножек и заснул, высунув наружу голову, как петух из курятника.

"Что это я? Что за блажь? Что за дурь в голову лезет? Так ведь и спатить можно. Люди как люди, живут, воют, спят, врага добивают, победу добывают, о доме мечтают, а я? "Книжков начитался!" Правильно Пафнутьев, правильно, ни к чему книжки читать, да и писать тоже. Без них убивать легче, жить проще!.."

Придерживаясь за стены, ощупью Борис пробрался в маленькую комнатку. Не открывая глаз, разделся, побросал амуницию куда-то во тьму, упал на низкую кровать.

Никакие потрясения не могли еще отнять стремления молодого тела к отдыху и восполнению сил.

И снова виделся ему сон, снова длинный, снова нелепый, но этот начинался хорошо, плавно, и, узнавая этот сон-воспоминание, лейтенант охотно ему отдался, смотрел будто кино в школьном клубе: земля, залитая водою, без волн, без трещин и даже без ряби. Чистая-чистая вода, над нею чистое-чистое небо. И небо и вода оплеснуты солнцем. По воде идет паровоз, тянет вагоны, целый состав, след, расходясь на стороны, растворяется вдали. Море без конца и края, небо, неизвестно где сливающееся с морем. И нет конца свету. И нет ничего на свете. Все утопло, покрылось толщей воды.

Паровоз вот-вот ухнет в глубину, зашипит головешкою, и корбочки вагонов, пощелкивая, ссыплются туда же вместе с людьми, с печами, с нарами и солдатскими пожитками. Вода сомкнется, покроет гладью то место, где шел состав. И тогда мир этот, залитый солнцем, вовсе успокоится, будет вода, небо, солнце - и ничего больше! Зыбкий мир, без земли, без леса, без травы. Хочется подняться и лететь, лететь к какому-нибудь берегу, к какой-нибудь жизни.

Но тело приросло к чему-то, вкоренилось. Ощущением безнадежности, пустоты наполнилось все вокруг. Усталые птицы, изнемогая в непрерывном полете, падали на крыши вагонов, громко бухали крыльями по железу. Их закруживало, бросало в двери, они шарахались по вагону.

И опять тот человек из бани, нагой, усталый, явился, начал махать веником, гоняться за птицами, сшибал их веником, свертывал им головы, бросал их под нары. Птицы предсмертно там бились, хрипло крича: "Хильфе! Хильфе!". Лейтенант хватал человека за руки, пробовал отнять у него веник. "Жрать чего-то надо?! - отбивался от него, отмахивал его веником человек.- Приварок

сам в руки валит!" А птицы все хрипели: "Хильфе! Хильфе!". Выскальзывая из вагона, они беззвучно хлопали крыльями по воде. Были они все безголовые, игрушечно крутились на одном месте, из черенков шей ключом била кровь, и снова волны крови заплескались вокруг, и паровоз уже шел не по воде, а по густеющей крови, по которой вразмахку плыл человек, догоняя безголовую утку, он ее хватал, хватал ртом, зубами и никак не мог ухватить...

Сон крутился на одном месте. Жутко, невыносимо было. Борис занес ногу над пустотой, чтобы выпрыгнуть из бешено мчавшегося вагона, чтобы избавиться от этой жути, и замер, почувствовав на себе пристальный взгляд.

Он вздрогнул, схватился за кровать и привстал, поднятый этим взглядом.

Рядом стояла Люся.

- У вас горел свет,- заговорила она поспешно.- Я думала, вы не спите...

Я выстирала верхнее. Белье бы еще постирать...

Он еще не вышел из сна, ничего не понимал. Когда он ложился спать, света не было.

- Я думала, вы...- снова начала Люся и остановилась в замешательстве.

Долго стояла она над ним, склонившись, смотрела, смотрела на него и досмотрелась.

Быстро-быстро, мешая русские и украинские слова, чтобы не дать себе остановиться, она продолжала: как хорошо, что пришли ночевать снова те же военные. Она уже привыкла к ним. Жалко вот, не смогла их снова уговорить пойти в чистую половину. На кухне устроились... А на улице морозно... Хорошо, что бои кончились. Еще лучше, если бы вовсе война кончилась... А солдаты где-то раздобыли сухих дров. Сегодня они неразговорчивые, сразу спать легли, и выпивал только один пожарник-кум...

- Какой я сон видел!

Нет, он ее не слышал, не отошел еще ото сна, говорил сам с собою или за кого-то ее принимал.

- Страшный, да? Других снов сейчас не бывает...- Люся поникла головой.-

Я думала, вы больше не придете...

- Почему же?

- Я думала, вдруг вас убьют... Стрельба такая была...

- Это разве стрельба? - отозвался он, протер глаза тыльной стороной руки и внезапно увидел ее совсем близко. В разрезе халата начинался исток грудей. Живой ручеек катился стремительно вниз и делался потоком. Далеко где-то, оттененное округлостями, таинственно мерцало ясное женское тело. Оттуда ударяло жаром. А рядом было ее лицо, с вытянутыми, смятенно бегающими глазами. Борис слышал, слышал - кисточки кукольно загнутых ресниц щекочут кожу на его щеке. Сердце взводного начало колотиться, укатываясь под гору. Приглушая разрастающееся в груди стучание, все ускоряющийся бег, он сглотнул слюну.

- Какая... ночь... тихая...- и минуту спустя уже ровнее: - Снилось, как мы по Барабинской степи на войну ехали... Степь, рельсы - все под разливом. Весна была. Жутко так...- Он чувствовал: надо говорить, говорить и не смотреть больше туда. Нехорошо это, стыдно. Человек забылся, а он уже и заподглядывал, задрожал весь! - Какая ночь... глупый сон... какая ночь... тихая...- Голос его пересох, ломался, все в нем ломалось: дыхание, тело, рассудок.

- Война...- тоже с усилием выдохнула Люся. Что-то замкнулось и в ней. Слабым движением руки она показала - война откатилась, ушла дальше.

Глаза плохо видели ее, все мутилось, скользило и укатывалось куда-то на стучащих колесах. Женщина качалась безликой тенью в жарком, все сгущающемся пале, который клубился вокруг, испепеляя воздух в комнате, сознание, тело... Дышать нечем. Все вещее в нем сгорело. Одна всесильная власть осталась, и, подавленный ею, он совсем беззащитно пролепетал:

- Мне... хорошо... здесь...- и, думая, что она не поймет его, раздавленный постыдностью намека, он показал рукой: ему хорошо здесь, в этом доме, в этой постели.

- Я рада...- донеслось издали, и он так же издали, не слыша себя,

откликнулся:

- Я тоже... рад...- И, не владея уже собой, сопротивляясь и слабея от этого сопротивления еще больше, протянул к ней руку, чтобы поблагодарить за ласку, за приют, удостовериться, что эта, задернутая жарким туманом тень, качающаяся в мерклом, как бы бредовом свете, есть та, у которой стремительно катится вниз исток грудей, и кружит он кровь, гремящее набатом сердце под ослепительно мерцающим загадочным телом. Женщина! Так вот что такое женщина! Что же это она с ним сделала? Сорвала, словно лист с дерева, закружила, закружила и понесла, понесла над землю - нет в нем веса, нет под ним тверди...

Ничего нет. И не было. Есть только она, женщина, которой он принадлежит весь до последней кровинки, до остатного вздоха, и ничего уж с этим поделаться никто не сможет! Это всего сильнее на свете!

Далеко-далеко, где-то в пространстве он нащупал ее руку и почувствовал пупырышки под пальцами, каждую, даже невидимую глазом пушинку тела почувствовал, будто бы не было или не стало на его пальцах кожи и он прикоснулся голым первым к ее руке. Дыхание в нем вовсе пресеклось. Сердце зашло в яростном бое. В совсем уж бредовую темень, в совсем горячий, испепеляющий огненный вал опрокинуло взводного.

Дальше он ничего не помнил.

Обжигающий просверк света ударил его по глазам, он загнанно упал лицом в подушку.

Не сразу он осознал себя, не вдруг воспринял и ослепительно яркий свет лампочки. Но женщину, прикрывшую рукою лицо, увидел отчетливо и в страхе сжался. Ему так захотелось провалиться сквозь землю, сдохнуть или убежать к солдатам на кухню, что он даже тонко простонал.

Что было, случилось минуты назад? Забыть бы все, сделать бы так, будто ничего не было, тогда бы уж он не посмел обижать женщину разными глупостями

- без них вполне можно обойтись, не нужны они совершенно...

"Так вот оно как! И зачем это?"-Борис закусил до боли губу, ощущая, как отходит загнанное сердце и выравнивается разорванное дыхание. Никакого такого наслаждения он как будто и не испытал, помнил лишь, что женщина в объятиях почему-то кажется маленькой, и от этого еще больше страшно и стыдно.

Так думал взводный и в то же время с изумлением ощущал, как давно копившийся в теле навязчивый, всегдашний груз сваливается с него, тело как бы высветляется и торжествует, познав плотскую радость.

"Скотина! Животное!" - ругал себя лейтенант, но ругань вовсе отдельно существовала от него. В уме - стыд, смятение, но в тело льется благодное, сонное успокоение.

- Вот и помогла я фронту.

Борис покорно ждал, как после этих, внятно уроненных слов женщина, влепит ему пощечину, будет рыдать, качаться по постели и рвать на себе волосы. Но она лежала мертво, недвижно, от переносицы к губе ее катилась слеза.

На него обрушились неведомые доселе слабость и вина. Не знал он, как облегчить страдание женщины, которое так вот грубо, воспользовавшись ее кротостью, причинил он ей. А она хлопотала о нем, кормила, поила, помыться дала, с портянками его вонючими возилась. И, глядя в стену, Борис повинился тем признанием, какое всем мужчинам почему-то кажется постыдным.

- У меня... первый раз это...- и, подождав немного, совсем уж тихо: -
Простите, если можете.

Люся не отзывалась, ждала как будто от него еще слов или привыкала к нему, к его дыханию, запаху и теплу. Для нее он был теперь не отдаленный и чужой человек. Раздавленный стыдом и виной, которая была ей особенно приятна, он пробуждал женскую привязанность и всепрощение. Люся убрала щепотью слезу, повернулась к нему, сказала печально и просто:

- Я знаю, Боря...- и с проскользнувшей усмешкой добавила: - Без фокусов да без слез наш брат как без хлеба...- легонько дотронулась до него, ободряя и успокаивая: - Выключи свет,- в тоне ее как бы проскользнул украдчивый намек.

Все еще не веря, что не постигнет его кара за содеянное, он послушно встал, прихватив одеяло и заплетаясь в нем, прошлепал к табуретке, поднялся, повернул лампочку, потом стоял в темноте, не зная, как теперь быть. Она его не звала и не шевелилась. Борис поправил на себе одеяло, покашлял и мешковато присел на краешек кровати.

Над домом протрещал ночной самолетик, окно прочертило зеленым пятнышком. Низко прошел самолетик - не боится, летает.

За маленьким самолетиком тащились тяжелые, транспортные, с полным грузом бомб. А может, раненых вывозили. Одышливо, трудно, будто лошадиное сердце на подъеме, работали моторы самолетов, "везу-везу" - выговаривали.

Синеватый, рассеянный дальностью, луч запорошился в окне, и сразу, как нарисованная, возникла криволапая яблоня на стеклах, в комнате сделалось видно этажерку, белое что-то, скомканное на стуле, и темные глаза прямо и укорно глядящие на взводного: "Что же ты?"

Нет, уйти к солдатам на кухню нельзя. А как хотелось ему сбежать, скрыться, однако вина перед нею удерживала его здесь, требовала раскаянья, каких-то слов.

- Ложись,- обиженно и угнетенно, как ему показалось, произнесла Люся.-
Ногам от пола холодно.

Он почувствовал, что ногам и в самом деле холодно, опять послушно, стараясь не коснуться женщины, пополз к стене и уже собрался вымучить из себя что-то, как услышал:

- Повернись ко мне...

Она не возненавидела его, и нет в ее голосе боли, и раскаянья нет.
Далеко и умело упрятанная нежность как будто пробивалась в ее голосе.

"Как же это?.." - смятенно думал Борис. Стараясь не дотрагиваться до женщины, он медленно повернулся и скорее спрятал руки, притаился за подушкой, точно за бруствером окопа, считая, что надо лежать как можно тише, дышать неслышно, и тогда его, может быть, не заметят.

- Какой ты еще...- услышал Борис, и его насквозь прохватило жаром - она придвигалась к нему. Люся подула Борису в ухо, потрепала пальцем это же ухо и, уткнувшись лицом в шею, попросила: - Разреши мне тут,- точно показывала Люся рубец на шее,- разреши поцеловать тут,- и, словно боясь, что он откажет, припала губами к неровно заросшей ране.- Я дура?

- Нет, почему же? - не сразу нашелся он и понял, как глупо вышло. Рубец раны, казалось ему, неприятен для губ, и вообще блажь это какая-то. Но уступать надо - виноват он кругом.- Если хочешь...- обмирая, начал лейтенант.- Можно... еще...

Она тронула губами его ключицу, губами же нашла рубец и прикоснулась к старой ране еще раз, еле ощутимо, трепетно.

Дыхание Бориса вновь пресеклось. Кровь прилила к вискам, надавила на уши и усилила все еще не унявшийся шум. Горячий туман снова начал наплывать, захлестывать разумение, звуки, слух, глаза, а шелест слов обезоруживал его, ввергая в гулкую пустоту.

- Мальчик ты мой... Кровушка твоя лилась, а меня не было рядом... Милый мой мальчик... Бедный мальчик...- она целовала его вдруг занывшую рану. Удивительно было, что слова ее не казались глупыми и смешными, хотя какой-то частицей сознания он понимал, что они и глупы, и смешны.

Преодолевая скованность, захлестнутый ответной нежностью, Борис неуверенно тронул рукой ее волосы - она когда-то успела расплести косу,- зарылся в них лицом и ошеломленно спросил:

- Что ото?

- Я не знаю.- Люся блуждала губами по лицу Бориса, нашла его губы и уже невнятно, как бы проваливаясь куда-то, повторила: - Я не знаю...

Горячее срывающееся дыхание ее отдавалось неровными толчками в нем, неожиданно для себя он припал к ее уху и сказал слово, которое пришло само собою из его расслабленного, отдалившегося рассудка:

- Милая...

Он почти простонал это слово и почувствовал, как оно, это слово, током ударило женщину и тут же размягчило ее, сделало совсем близкой, готовой быть им самим, и, уже сам готовый быть ею, он отрешенно и счастливо выдохнул:

- Моя...

Снова было тихо и неловко. Но они уже не остранялись друг от друга, тела их, только что перегруженные тяжестью раскаленного металла, остывали, успокаивались.

Наступило короткое забытие, но они помнили один о другом в этом забытии и скоро проснулись.

- Я всю жизнь с семи лет, может, даже и раньше, любила вот такого худенького мальчика и всю жизнь ждала его, - ласкаясь к нему, говорила Люся складно, будто по книжке. - И вот он пришел!

Люся уверяла, что она не знала мужчины до него, что ей бывало только противно. И сама уже верила в это. И он перил ей. Она клялась, что будет помнить его всю жизнь. И он отвечал ей тем же. Он уверял ее и себя, что из всех когда-либо слышанных женских имен ему было памятно лишь одно, какое-то цветочное, какое-то китайское или японское имя - Люся. Он тоже мальчишкой, да что там мальчишкой - совсем клопом, с семи лет, точно, с семи, слышал это имя и видел, точно, видел, много-много раз Люсю во сне, называл ее своей милой.

- Повтори, еще повтори!

Он целовал ее соленое от слез лицо:

- Милая! Милая! Моя! Моя!

- Господи! - отпрянув, воскликнула Люся. - Умереть бы сейчас!

И в нем сразу что-то оборвалось. В памяти отчетливо возникли старик и

старуха, седой генерал на серых снопах кукурузы, обгорелый водитель "катуши", убитые лошади, одичавшая собака, раздавленные танками люди - мертвецы, мертвецы.

- Что с тобой? Ты устал? Или?..- Люся приподнялась на локте и пораженно уставилась на него: - Или ты... смерти боишься?!

- На смерть, как на солнце, во все глаза не поглядишь...- слышал я. Беда не в этом,- тихо отозвался Борис и, отвернувшись, как бы сам с собой заговорил: - Страшнее привыкнуть к смерти, примириться с нею... Страшно, когда само слово "смерть" делается обиходным, как слова: есть, пить, спать, любить...- он еще хотел что-то добавить, но сдержал себя.

- Ты устал. Отдохни. Отдохни.- Люся не могла поймать его взгляд. Он отводил глаза. Тогда она легла щекой на его грудь.- Ох, как сердчишко-то! - и придавила ладонью то место, где сердце.- Тихонько, тихонько, тихонько... Вот та-ак, вот та-ак...

- Не надо говорить больше о смерти.

Люся отдернула руку, потерла висок и повинулась:

- Прости... Я забыла про войну.

Опять самолетик затрещал над хатой, чиркнул огоньком по стеклу и замолк вдали. Сделалось слышно улицу.

Не спала улица.

За стеной хаты жили, шевелились войска. Донесло песню:

С'ур-ровый голос раз-да-ет-ся:

"Кл я-а-а не-емся-а зе-е-земляка-а-ам:

Па-ку-уда сер-ердце бье-о-о-отся,

Па-ща-ды нет вра-гам!"

Завыла машина. Свет фар закачался в окне, и зашевелилось деревце. Оно то приближалось к окну, почти касаясь ветками стекла, то опадало в снеговую темень... На стеклах вспыхивали и гасли морозные искры, обостренно чувствовалось, как хорошо и тепло в избе. Загрохотал танк или трактор.

Рявкнул, остановился, мотор забухал обузданно, на холостых оборотах.

- Взяли! Взяли! Взяли! - разноречно покричали за окном, и голоса начали удаляться.

"К фронту. Фронт догоняют",- отметил Борис.

На кухне кто-то громко стал отплеиваться, сморкаться. "Карышев,- догадался лейтенант,- закаленный табакур. Он и ночами встает жечь махорку".

Заскрипела, хлопнула дверь,- вернулся Карышев с улицы, брякнул ковшом, выпил холодной воды, покашлял еще и стих.

Где-то за рекой, в оврагах, ударил взрыв, брякнуло гулко, будто по банному тазу, раскатился гул по морозной ночи, задрезало окно, с деревца порхнул снежок, на кухне вскрикнул Шкалик и замычал, успокаиваясь.

- Еще чьей-то жизни не стало...- послушав, не повторится ли взрыв, проговорил Борис.

Люся прикрыла ладонью его рот, и так они лежали, вслушиваясь в ночь. Борис признательно тронул губами ее ладонь, пахнущую щелоком и мылом, простым мылом. И такой доступный, домашний запах, вошедший в него с детства, что-то стронул в нем. Досадуя на самого себя за возникшее отчуждение, он опять по-ребячьи зарылся в ее полосы и с удивлением вспомнил, что брезговал когда-то волосами, оставленными на гребешке. И, смешно вспомнить, еще брезговал споротыми пуговицами.

- Я думала, ты на меня сердисься,- чутко откликнулась Люся на ласку и обняла его за шею уже уверенно.- Не надо сердиться. Нет у нас на это времени... В какой-то миг они потеряли стыдливость. Жарко дышали раскрытые губы Люси, грешно темнели гнездышки грудей, опали, спутались вокруг шеи ее длинные волосы. Опустошенная, она устало ткнулась лицом в его плечо и, задремывая, говорила:

- Ты все-таки уснул бы, уснул бы...

"Не спи. Побудь еще со мной! Не спи!.." - слышалось ему, и, чтобы угодить ей, а угождать ей было приятно, он просунул руку под ее голову,

заговорил:

- Ты знаешь, когда я был маленький, мы ездили с мамой в Москву. Помню я только старый дом на Арбате и старую тетушку. Она уверяла, что каменный пол в этом доме, из рыжих и белых плиток выложенный, сохранился еще от пожара, при Наполеоне который был...- он прервался, думая, что Люся уснула, но она тряхнула головой, давая понять, что слушает.- Еще я помню театр с колоннами и музыку. Знаешь, музыка была сиреневая... Простенькая такая, понятная и сиреневая... Я почему-то услышал сейчас ту музыку, и как танцевали двое - он и она, пастух и пастушка. Лужайка зеленая. Овечки белые. Пастух и пастушка в шкурах. Они любили друг друга, не стыдились любви и не боялись за нее. В доверчивости они были беззащитны. Беззащитные недоступны злу - казалось мне прежде...

Люся слушала, боясьдохнуть, знала она, что никому и никогда он этого не расскажет, не сможет рассказать, потому что ночь такая уже не повторится.

- И ты знаешь,- усмехнулся Борис, и Люся обрадовалась, что он все-таки помнит о ней,- знаешь, с тех пор я начал чего-то ждать. Раньше бы это порчей назвали, бесовским наваждением,- он прервался, вздохнул, как бы осуждая себя.- Видишь вот...

- Мы рождены друг для друга, как писалось в старинных романах,- не сразу отозвалась Люся.- Если тебе хочется, я расскажу о себе. Потом. А сейчас мне хорошо. Я слышу твою музыку. Между прочим, я училась в музыкальном училище. Да-да,- она тронула пальцем удивленно открывшийся рот Бориса.- Я уж и сама этому мало верю. Да и какое это имеет значение,- дремотно приваливаясь к нему, тихо вздохнула она.- Я слышу тебя...

Уходила куда-то старая дорога, заросшая травой, и на ней два путника - он и она. Бесконечной была дорога, далекими были путники, чуть слышна, почти невнятна, сиреневая музыка...

Борис вскинулся, сел, стиснул руками лоб.

- Я, кажется, опять заснул?

- Ты так забылся, так забылся... Тебе опять снилась война?

Обрадованный тем, что он смог пересилить себя, отогнать сон, что рядом живой, бесконечно уже дорогой ему человек, Борис притиснул ее настывшее тело к себе.

- У меня голова кружится...

- Я принесу тебе поесть и выпить. Ты ведь вечером не ел.

- Откуда ты знаешь? Тебя и дома не было.

- Я все знаю. Вот поешь и отдыхай.

- Наотдыхаюсь еще. Без тебя. А поесть не помешало бы. Никого не разбудим?

- Не-е. Я сторожка! - Люся лукаво улыбнулась, погрозила ему пальцем: - Не смотри на меня! - Но он смотрел на нее, и она взяла обеими руками его голову, отвернула лицом к стене.- Не смотри, говорю!

Они дурачились, позабыв о том, что шуметь-то особенно и не надо бы.

- У-у, какой! Нельзя так! Я тоже проголодалась,- шлепнула она его и, схватив халат, выскользнула и зашуршала за дверью одеждой.

- Эй, человек!

- Борька, не балуй! - просунула она лицо меж занавесок, и было в ее быстрых, совсем уж приблизившихся черных глазах столько всего, что Борис не выдержал, ринулся к ней, но она сомкнула перед ним занавески и, когда он ткнулся лицом в ее лицо сквозь жесткую занавеску, выпалила:

- Я тебя люблю!

Мальчишество напало на него. Он ударил в подушку кулаком, подбросил ее, упал на подушку грудью, будто на теплую еще птицу, и увидел на простыне, точно в гипсе, слепок ее тела.

Он осторожно дотронулся до простыни.

Под ладонью была пустота.

Люся объявилась в дверях с посудой, с хлебом, с картошкой, хотела сказать, что, слава богу, кум-пожарник не всю самогонку выдул, и замерла,

увидев растерянность на лице Бориса. Он будто не узнавал ее, нет, узнавал, но видел как бы уже со стороны.

- Ты что?

К глазам его подкатывали слезы, лицо страдальчески заострилось.

- Я здесь! - тронула она его.

Он передернулся, до хруста сжал ее руку...

Люся рывком притиснула его к себе и тут же оттолкнула, принялась налаживать еду. Они молча пили самогонку из одной кружки, выпив, всякий раз целовались. Молча же закусывали картошкой и салом. Он чистил картошку для нее, она для него.

Поели, стало нечего делать, не о чем уж вроде говорить. Молча смотрели они перед собой в пустоту идущей на убыль ночи. Борис виновато погладил ее руку. Люся признательно сжала его пальцы, тогда он диковато схватил ее, прижал к кровати:

- Смерти или живота?!

- Ах, какой ты! - прикрыла она завлажневшие глаза.

- Дурной?

- Псих! И я псих... Кругом психи...

- Просто я пьяный, но не псих.

- Нельзя так много,- увернулась Люся от его рук.

- Можно! - заявил он, дрожа от вымученной настойчивости.

- Ты слушай меня. Мне уж двадцать первый год!

- Поду-умаешь! Мне самому двадцатый!

- Вот видишь, я старше тебя на сто лет! -Люся осторожно, как ребенка, уложила его на подушку.- А времени-то третий час!..

Кто-то из солдат опять зашевелился на кухне, потел, запнулся за корыто, выругался хрипло. И они опять, притихнув, переждали тревогу. От окна падал рассеянный полумрак, высветляя плечи Люси, пробегая искристыми светляками по стеклу, взблескивая снежно в ее волосах. Накаленно светились ядрышки ее

зрачков. Под ресницами, под маленьким, круто вздернутым подбородком притемнилось. Уже предчувствуя утро и разлуку, прижавшись друг к другу, сидели они. И ничего им больше не хотелось: ни говорить, ни думать, только сидеть так вот вдвоем и полудремном забытьи и чувствовать друг друга откровенными, живыми телами, испытывая неведомое блаженство, от которого душа делалась податливой, мягкой, плюшевой делалась душа.

Часть третья. ПРОЩАНИЕ

Горькие слезы застлали мой взор.

Хмурое утро крадется, как вор, ночи вослед.

Проклято будь наступление дня!

Время уводит тебя и меня в серый рассвет.

Из лирики вагантов

Окно засветилось, и комната стала наливаться красным светом. Одногласно зарыдала соседская дворняга в переулке, морозно дребезжа, звякнул колокол. Яблонька за окном начала дергаться, шевелиться, приближаясь к окну. Все в комнате сделалось живое, задвигалось тенями, замельтешили кресты от рам на полу и на стене.

Люся больно вцепилась ногтями в Бориса. Он прижал ее к себе. "Ну что ты, что ты, маленькая! Не бойся..." - Бояться нечего - опасность лейтенант сразу бы почувствовал - нюх у него вышколен войною.

По ту сторону узких топольков, стеной стоявших за огородом в проулке, ярко, весело отгорела хата, заваливаясь шапкой крыши набок, соря ошметками пламени по огороду.

"Высушили славяне портянки!" - подумал Борис почему-то весело - уж очень резво пластала хата. Борис знал, что в хатах этих матица - она и дымоход. Пока топят соломой - ничего, но как запалют дрова или скамейки, да еще и бензинчику плеснут солдаты - ни жилья тогда, ни портянок.

- Полицая жарят! - глухо произнесла Люся и стала кутаться в одеяло, кинутое на плечи.- Шкура продажная! Так ему и... На пересылке служил, в подхвате у фашистов. Наших людей, как утильсырье, там сортировал: кого в Германию, кого в Криворожье - на рудники, кого куда...

Голос Люси дрожал. Блики металась по лицу ее и по груди. Лицо делалось то бледным, заваливаясь в тень, и лишь глаза, зачерненные ресницами, светились накаленно и злобно.

- Как заняли местечко фашисты, на постой к нам определился фриц один. Барственный такой. С собакой в Россию пожаловал. На собаке ошейник позолоченный. Лягуха и лягуха собака - скользкая, пучеглазая... Фашист этот культурный приводил с пересылки девушек - упитанных выбирал... съедобных! Что он с ними делал! Что делал! Все показывал им какую-то парижскую любовь. Одна девушка выпорола глаз вальяжному фрицу, за парижскую-то любовь... Один только успела. Собака загрызла девушку...- Люся закрыла лицо руками и так его сдавила, что из-под пальцев покатились бледность,- на человека, видать, притравленная. Перекусила ей горло разом, как птичке, облизнулась и легла к окну... там!.. Там!..- показывала Люся одной рукой, другой все зажимала глаза. Чувствуя, как холодеют у него спина и темя, понимая, что Люся видит что-то страшное, Борис придушенно спросил:

- На твоих глазах?!

Она тряхнула головой раз-другой, видно, не могла уже остановиться, все трясла, трясла головой, закатившись в сухих рыданиях.

Он притиснул ее к себе и не отпускал ее до тех пор, пока она не успокоилась. "Бить! Бить так, чтобы зубы крошились! Правильно, Филькин, правильно!" - вспомнив командира роты, утренний бой, овраги, Борис вспомнил и собаку с дорогим ошейником, рвущую убитого коня: "Она! Надо было пристрелить..."

- Поймали его партизаны.- По зловещей и какой-то мстительной улыбке Люси Борис заключил - не без ее участия.- Повесили на сосне. Собака его выла в лесу... Грызла ноги хозяина... До колен съела...- дальше допрыгнуть не могла. Подалась к фронту. Там есть чем пропитаться... А вражина безногий висит в темном бору, стучит скелетом, как кощей злобный, и пока не вымрет наше поколение - все будет слышно его...

Собака в переулке уже не рыдала, хрипела, задохшись на привязи, и больше никаких голосов не слышно, и колокол не звонил.

- Всех бы их, гадов! - стиснув зубы, процедила Люся.- Всех бы подчистую...

Борис не узнавал в ней ту женщину, восторженную и преданную в страсти своей, что пришла к нему в далекий-далекий вечерний час. Он отвел ее обратно на кровать, укрыл одеялом и, успокаивая, приложил ладонь к гладкому покатому лбу. Она притихла под его рукою, и спустя время ознобная дрожь перестала сотрясать ее.

- Боря, расскажи мне об отце и матери. Кто они у тебя? - попросила Люся.- Я хочу к ним привыкать. Хочу все знать о тебе.

Борис понял: больше всего сейчас она хочет отвлечься, забыться, уйти от тяжелых видений.

- Учителя,- не сразу, но охотно отозвался Борис.- Отец - завуч теперь, мать преподает русский и литературу. Школа наша в бывшей гимназии. Мама училась в ней еще как в гимназии.- Он прервался, и Люся женским чутьем, особенно обострившимся в эту ночь, уловила, как он снова отдаляется от нее.- Когда-то в наш городок был сослан декабрист Фонвизин. С его жены, генеральши

Фонвизиной, Пушкин будто бы свою Татьяну писал. Мама там десятая или двенадцатая вода на киселе, но все равно гордится своим происхождением. Я, идиот, не запомнил родословную мамы, - он улыбнулся чему-то своему, закинув руки за голову, глядя в какую-то свою даль. - Улицы и переулки в нашем деревянном городке зарастают всякой разной топтун-травой. Набережная есть. Бурьян меж бревен растет, птички в щелях гнезда вьют. Весной на угреве медуница цветет, летом - сорочья лапка и богородская травка, и березы растут, старые-старые. А церквей!.. Золотишники-чалдоны ушлые были: пограбят, пограбят, потом каждый на свои средства - храм! И все грехи искуплены! Простодушны все-таки люди! Ну а теперь в церквях гаражи, пекарни, мастерские. По церквам кусты пошли, галки да стрижи в колокольнях живут. Как вылетят стрижи перед грозой - все небо в крестиках! И крику!.. Крику!.. Ты не спишь?

- Что ты, что ты?! - ворохнулась Люся. - Скажи... Мама твоя косы носит?

- Косы? При чем тут косы? - не понял Борис. - У нее челка. Косы у молодой были. Я у них поздныш, вроде как бы сын и внук сразу... - Он поправил подушку, навалился на нее грудью.

Воспоминания далекие, безмятежные. Они прикипели к сердцу, растворились в крови, жили в нем, волнуя и утешая его, были им самим. А разве себя перескажешь?

Вот он слышит, как пахнет утро в родном городишке.

Росами и туманами - холодными, травянистыми, пахли летние утра. Под завалившимся срубом набережной скапливался туман, конопатил щели меж бревен, заячьими шапками надевался на купола церквей, на прибрежные будки и бани, на рекламные тумбы, на кусты. От реки шел запах прелой коры, днем туманы пахли убитым лесом. Коренная вода подбиралась к дамбе, вымывала из-под срубов землю, отрывала гнилые сутунки.

Когда река укатывалась в берега, под дамбой оказывалось столько таинственного добра: бутылочных стекол, черепушек, озеленелых от плесени

монет, костей, медных крестиков. В лужах под дамбой бедовала прозевавшая отход реки рыба мелочь. Вороны прыгали вдоль распертой землею дамбы, хищно совали головы под бревна и заглатывали рыбешек с жадным клекотом.

Ребятишки били ворон камнями, вытаскивали рыбешек из луж, засоренных гнильем. Рыбешки измученно бились в теплых руках, лезли меж пальцев. Отпущенные, лежали они поверх воды, пошептывая судорожными ртами, и, пьяно качаясь, уходили ненадолго в глубину. Но их, как сухие ивовые листья, выталкивало наверх. Набравшись сил, с уже осознанным страхом, малявки шильцами втыкались вглубь, припадая ко дну, высматривая корм и клубящуюся в воде родную стайку.

Осенью к дамбе скатывали бочки, торцами прислоняли их к стене, туманы в эту пору, да и весь городишко пахли рыбой, плесенью мхов, вянущей огородиной. Штабеля бочек поленницами росли выше и выше, пароходов, баржей приставало все больше и больше, обветренного, истосковавшегося по обществу, пододичавшего народа - северных рыбаков, людно и густо делалось. Играли гармошки на берегу, повизгивали за омулевыми и муксуньими бочками женщины, ребятишки подсматривали стыдное. Ночи делались шаткие, беспокойные, все в городе пело и гуляло, как при древних золотишниках, вернувшихся с фартом.

- Пареваны и девки любят у нас встречать пароходы. Каждый пассажирский. Парят себя ветками - комары и мошки заедают,- улыбаясь, заговорил Борис, и Люся догадалась, что перед ним прошли какие-то, лишь ему известные картины, и он продолжал их видеть отдельно от нее.

Она отодвинулась, но Борис даже не заметил этого, он все так же глядел куда-то, блаженно улыбаясь.

- Гонобобелью - это у нас голубику-пьянику так называют,- или черницей, или орехами кедровыми потчуют девок пареваны. Рты у всех черные. Городишко засыпан ореховой скорлупой... Да что про комаров да про ягоды?! - спохватился Борис.- Давай лучше мамины письма почитаем.

Люся не без грусти отметила, что он решился на это не сразу. Еще не

привык свое делить пополам, и время нужно, чтобы все у них стало одним: и жизнь, и душа, и мысли.

- Только тебе опять придется идти. Письма в сумке.

Она поднялась, ввернула лампочку и, зажмурившись от света, подумала, что он всю жизнь будет вот так посылать ее и она не устанет быть у него на побегушках.

- Этому пузырьку-то вашему плохо. Со вчерашней гулянки никак не отойдет. Мучается. Зачем такого мальчика поить? - выговаривали лейтенанту Люся, вернувшись с сумкой.- Ох, Борька! - она погрозила ему пальцем.- Балованный ты!

- В самом деле? Это мама... Знаешь,- улыбнулся он,- папа меня в секцию бокса отдал в лесокомбинатовский клуб. И мне там сразу нос расквасили. В секцию меня мама больше не пустила, но папа везде с собой брал: на рыбалку, на охоту, орехи бить. Однако нить никогда не позволял. А этот, чердынский, дорвался...

Люся развела складки на его переносице, пальцем прошла по бровям, которые начинались тонко и, взлетев к вискам, круто опадали вниз.

- Ты на маму похож?

Не понимая, какая приятность для женщины открывать мужчину - иногда на такое занятие уходит вся жизнь,- и считая, что это и было истинной любовью,- он отбил ся сконфуженно:

- Не стоит заниматься моей персоной...

- Какой ты воспитанный мальчик! - толкнула его Люся.- Читай. Только я растянусь. Читай, читай! - Он заметил темные полукружья под се глазами и пожалел женщину непривычной, мужицкой жалостью:

- Утомилась?

- Читай, читай!

Писем накопилась целая пачка, мятых, пухлых, запачканных в сумке, захватанных руками. Борис выбрал одно, не самое толстое письмо, расправил

уголки, погладил бумагу, как во вспышке зарницы увидел мать с белым полушалком на покатых плечах, с желтой деревянной ручкой в испачканных чернилами пальцах, почудилось даже - услышал, как скрипит перо, вывязывая ровные строчки прилежно учившейся гимназисткой.

"Родной мой!

Ты знаешь своего отца. Он притесняет меня, говорит, чтобы я часто тебе не писала,- ты вынужден отвечать и станешь отрывать время от сна. А я не могу не писать тебе каждый день.

Вот проверила тетради и пишу. Отец чинит мережу на кухне и думает о тебе. Я-то читаю его, как ученическую тетрадку, и вижу каждую пропущенную запятую и эти вечные ошибки на "а" и "о". Отец твой переживает - был сдержан и сух с тобою, недолюбил, как ему кажется, недосказал чего-то. Он чинит мережу, думая, что ты вернешься к весне. Он до того изменился, что иногда называет меня "девочка моя". Так он называл меня еще в молодости, когда мы встречались. Смешно. Нам ведь и тогда уже за тридцать было...

Я писала тебе, как трудно нынче в школе. Удивляться только приходится, что в самые тяжелые дни войны школы не закрыты и мы учим детей, готовим к будущему, значит, не теряем веры в него, в это будущее...

Боренька! Вот снова вечер. Письма от тебя и сегодня нет. Как ты там? У нас печка топится, чайник крышкой бренчит. Отца сегодня нет. Он еще математику ведет в вечерней школе. Почему ты, Боренька, вскользь написал о том, что тебя наградили орденом? Даже не сообщил - каким? Ты же знаешь своего отца, его понятия о долге и чести. Он был бы рад узнать, за что тебя наградили. Да и я тоже. Мы оба гордимся тобою.

Между прочим, отец твой рассказал мне, как он тебя учил ходить в лодке с шестом. И увидела я тебя: в трусишках, худенького, с выступившими ребрами. Лодка большая, а ты бьешься в подпорожье, а отец ловит этих несчастных пескарей и видит, как тебя развернуло и понесло. Потом ты почти добрался до каменного бычка, прибил в улово, но тебя снова развернуло и понесло. Ты

поднимался пять раз, и пять раз тебя сносило. У тебя вспотел нос (всегда у тебя потел нос). На шестой раз ты все же одолел преграду, и с ликованием: "Папа! Я лодку привел!" А он: "Ну что ж, хорошо! Привяжи ее к камню и начинай удить пескарей - надо к вечеру успеть наживить перемет".

Что за комиссия, создатель,- быть ребенком педагогов! Вечно они дают ему уроки. И вырастают у них, как правило, оболтусы (ты - исключение, не куксись, пожалуйста!).

Беда с твоим отцом. Как он переживал, когда в армии ввели погоны! Мы, говорит, срывали погоны,- детям нашим их навесили! А я потихоньку радовалась, когда погоны ввели. Я радуюсь всему, что разумно и не отрицает русского достоинства. Может быть, во мне говорит кровь моих предков?

Закругляюсь. Раз вспомнила о предках - значит, пора. Это как у твоего отца: если он выпивши пошел танцевать, значит, самое время отправляться ему в постель. Танцевать-то он не умеет. Это между нами, хотя ты знаешь.

Родной мой! У нас уже ночь! Морозно. Может, там, где ты воюешь, теплее? Всю географию перезабыла. Это потому, что я рядом тебя чувствую.

Вот как кончать письмо, так и расклеюсь. Прости меня. Слабая я женщина и больше жизни тебя люблю. Ты вот тут - я дотронулась до сердца рукою... Прости меня, прости. Надо бы какие-то другие слова, бодрые, что ли, написать тебе, а я не умею. Помолюсь лучше за тебя. Не брани меня за это. Все матери сумасшедшие... Жизнь готовы отдать за своих детей. Ах, если бы это было возможно!..

Отец твой изобличил меня. Я на сон шепчу молитву, думала, отец твой спит. Не таись, говорит, если тебе и ему поможет... Я заплакала. "Девочка моя!" - сказал он. Да ты знаешь своего отца. Он считает, что у него не один, а двое детей: ты и я.

Благословляю тебя, мой дорогой. Спокойной тебе ночи, если она возможна на войне. Вечная твоя мать-Ираида Фонвизина-Костяева".

Письмо кончилось, но Борис все еще держал его перед собой, не отрываясь

смотрел на бегущую подпись матери и явственно видел ее: носатенькую, с оттопыренными ушами, в белом полушалке, сползшем с покатых плеч; и по-старомодному заколотые на затылке волосы видел, и реденькую челку надо лбом, которая всегда вызывала ухмылку учеников. Мать убрала письмо, закуталась в полушалок, раздвинула занавески на окне, пытаясь мысленным взором покрыть пространство, отделяющее ее от сына.

За окном дробятся негустые огни старенького городка, за ними угадывается темный провал реки, заторошенной льдами, и дальше - мерклые очертания гор с мрачной, немой тайгой на склонах и колдовской жутью в обвально-глубоких распадках. Тесно сомкнулось пространство вокруг городка, вокруг дома и самой матери. Где-то по другую сторону непроглядной, обрывающейся за рекой земли - он, и где-то, отделенная окопами, тысячами верст расстояния, между двумя враждующими мирами - она, мать.

Борис спохватился, свернул письмо в треугольник, изношенный по краям.

- Старомодная у меня мать,- сказал он нарочито громким голосом.- И слог у нее старомодный...

Люся не отозвалась.

Борис повернулся и увидел - все лицо ее залито слезами, и почему-то не решился ее утешать. Люся схватила жбан с этажерки, расплескивая на грудь самогон, глотнула из горлышка и прерывисто заговорила:

- Я должна о себе... Чтоб не было между нами... Борис пытался остановить ее.

- Было все так хорошо. Психопатка я, в самом деле психопатка! - вытирая лицо ладонями, будто оmyвая плечи и грудь, полуприкрытую одеялом, продолжала она: - Какой ты ласковый! Ты в мать. Я теперь знаю ее! Зачем войны? Зачем? За одно только горе матери... Ах, господи, как бы это сказать?

- Я понимаю. До фронта, даже до вчерашней ночи, можно сказать, не понимал.

...Матери, матери! Зачем вы покорились дикой человеческой памяти и

примирились с насилием и смертью? Ведь больше всех, мужественнее всех страдаете вы в своем первобытном одиночестве, в своей священной и звериной тоске по детям. Нельзя же тысячи лет очищаться страданием и надеяться на чудо. Бога нет! Веры нет! Над миром властвует смерть. На что нам надеяться, матери?

А за окном кончалась ночь. И земля неторопливо поворачивалась тем боком к солнцу и дню, где чужое и наше войско спали в снегах.

Хата догорела, обвалилась. Куча уже хиреющего огня умиротворенно дожевывала остатки балок, пробегая по ним юрким горностаишком и занырявая в оттаявшую яму.

Люся распластанно лежала на кровати, остановившимися глазами глядела в потолок. В окне красным жучком шевелился отсвет пожарища, но комната уже наполнилась темнотою, и темнота эта не сближала их, не рождала таинство. Она наваливалась холодной тоскою, недобрый предчувствием.

- Я бы закурила,- Люся показала на этажерку. Не удивляясь и, опять же, не спрашивая ни о чем, Борис нашарил в деревянной шкатулке пакетик с табаком и, как умел, скрутил сигарку. Люся сунула руку под матрац, вынула зажигалку. Чему-то усмехнувшись, переделала сигарку, склеенную вроде пельменя, свернула ее туже и, прикурив, осветила лицо Бориса огоньком. Усмешка все не сходила с ее губ.

- Зажигалка того самого фрица.- Люся щелкнула по ней ногтем и загасила огонек, дунув на него.- Хозяина повесили в бору на сосне, а зажигалочка осталась... заправленная зажигалочка, костяная...- У Люси клокотало в горле. Она затягивалась табаком по-мужицки умело и жадно.- Девочка он, между прочим, потрошил на этой самой кровати...

- Зачем ты мне это?

- О-ох, Борька! - бросив на пол сигарку, срубленно упала Люся на него.- Где же ты раньше был? Неужели войне надо было случиться, чтоб мы встретились? Милый ты мой! Чистый, хороший! Страшно-то как жить!..- она тут

же укротила себя, промокнула лицо простыней.- Все! Все! Прости. Не буду больше...

Он невольно отстранился от нее, и опять его потянуло на кухню, к солдатам - проще там все, понятней, а тут черт-те какие страсти-ужасы, и вообще...

- Чого сыдышь та й думаешь? Чого не йдешь, не гуляешь? - усмехнулась Люся и запустила руки в волосы лейтенанта.- Так и не причесался? Волосы у тебя мягкие-мягкие... Не умеешь ты еще притворяться... Мужчина должен уметь притворяться...

- А ты... Ты все умеешь?-Борис пугливо замер от своей дерзости.

- Я-то? - она опять глядела на свои руки, и это раздражало его.- Я ж тебе говорила, что старше тебя на сто лет. Женщинам иногда надо верить...- и треснуто, натуженно рассмеялась.- Ах, господи, до чего я умная!.. Ты чувствуешь, у нас дело к ссоре идет? Все как у добрых людей.

- Не будет ссоры. Вон уже светает. Окно и в самом деле обрисовалось квадратом, в комнату просочился рассеянный свет.

- На заре ты ее не буди...- прошептала Люся и замерла, поникнув. Затем подняла голову, откинула с лица волосы и опустила руки на плечи Бориса: - Спасибо тебе, солнышко ты мое! Взошло, обогрело... Ради одной этой ночи стоило жить на свете. Дай выпить и ничего не говори, ничего...

Борис поднялся, налил в кружку самогона. Люся передернулась, отпив глоток, подождала, когда выпьет он, и легонько, накоротке приникла к нему.

- Ты меня еще чуть-чуть потерпи. Чуть-чуть...

Борис дотронулся губами до ее губ, она дрогнула веками. И снова размягчилась его душа. Хотелось сделать что-нибудь неожиданное, хорошее для нее, и он вспомнил, что надо делать. Неловко, как сноп, подхватил ее в беремя и стал носить по комнате.

Люся чувствовала, как ему тяжело, неловко носить ее, но так полагается в благородных романах - носить женщин на руках, вот пусть и носит, раз такой

он начитанный!

Млея, слушала она, какую он мелет несбыточную, но приятную чушь: война кончилась, он приехал за нею, взял ее на руки, несет на станцию на глазах честного народа, три километра, все три тысячи шагов.

"Ах ты, лейтенантик, лейтенантик!" - пожалела его и себя Люся и, тронув губами проволочно-твердый рубец его раны, возразила:

- Нет, не так! Я сама примчусь на вокзал. Нарву большой букет роз. Белых. Снежных. Надену новое платье. Белое. Снежное. Будет музыка. Будет много цветов. Будет много народу. Будут все счастливые...- Люся прервалась и чуть слышно выдохнула: - Ничего этого не будет.

Он не хотел ее слушать и бормотал, как косач-токовик, всякую ерунду про верную любовь, про счастье, про вечность.

Очнувшись, они услышали, как ходят по кухне солдаты, топают, переговариваются, кто-то вытряхивает шинель.

Люся сползла к ногам лейтенанта.

- Возьми ты меня, товарищ командир,- прижавшись к его коленям щекою, просила она, глядя снизу вверх.- Я буду солдатам стирать и варить. Перевязывать и лечить научусь. Я понятливая. Возьми. Воюют ведь женщины.

- Да, да, воюют. Не смогли мы обойтись на фронте без женщин,- отвернувшись к окну, отрывисто проговорил взводный.- Славим их за это. И не конфузимся. А надо бы.

- Жутко умный ты у меня, лейтенант! - Люся чмокнула взводного в щеку и ушла, завязывая поясок халата.

Борис прилег на кровать и мгновенно провалился в такой глубокий и бездонный сон, каким еще не спал никогда.

Часа через два Люся на цыпочках вошла в комнату. Пристроила на спинку стула гимнастерку, отглаженную, с уже привинченным орденом, с прицепленной медалью, брюки и портянки, тоже постиранные, но еще волглые, положила и присела на кровать, тронула Бориса за нос. Он проснулся, но, не открывая

глаза, нежился.

- Вот,- откидывая рукой выбившиеся из-под платка волосы, заговорила Люся, кивая на гимнастерку.- Ухаживать за любимым мужчиной, оказывается, так приятно! - и сокрушенно покачала головой: - Баба все-таки есть баба! Никакое равноправие ей не поможет...

Румяная, разгоревшаяся от утюга, очень домашняя и уютная была она сейчас. Борис ладонью утер с лица ее пот, обнял, с уже отмягшей, восковой страстью потянул к себе.

- Нельзя! Все встали! - уперлась она в его грудь руками.

Но Борис не выпускал ее.

- А если узнают?

- Солдаты хоть о немецком, хоть о нашем наступлении раньше главного командования узнают, а уж про такое...

Борис одевался, Люся заплетала косу, когда за занавесками послышалось деликатное, предупреждающее покашливание.

- Товарищ лейтенант, я насчет винишка! - раздался бойкий голос Пафнутьева.- Если осталось, конечно.

- Есть, есть.

- Чо, без горючего зажигание не срабатывало?..

- Болтаешь много! - с напускной строгостью отозвался Борис.

"Ох, не оберешься теперь разговоров! Одобрять его будут солдаты, мол, взводный-то у них - парень не промах, хотя с виду и мямля! Все происшедшее будет восприниматься солдатами как краткое боевое похождение лейтенанта, и он не сможет ничего поправить, и должен будет соглашаться, потакать такому настроению. Расспросы пойдут, как да чего оно было? И ох трудно, невозможно будет отвертеться от пронизательных вояк!"

Борис просунул меж занавесок жбан, кружку.

- Шкалик у не давать! Тебе и остальным тоже не ковшом.

- Ясненько! - Пафнутьев подморгнул взводному.

- Чего все мигаешь? Окривеешь ведь! - буркнул Борис.

Люся нарядилась в желтое платье. Черные цыганские ленты скатывались по ее груди, коса перекинута через плечо. Рукава платья тоже отделаны черным. На ногах мало надеванные туфли на твердом каблуке. Похожа была Люся на девочку-воструху, которая тайком добралась до маминого сундука и натянула на себя взрослые наряды. За спиной ее, на стеклах, переливалась изморозь, росли белые волшебные кущи, папоротники, цветы, пальмы.

- Какая вы красивая, мадам!

Она потербила ленточку, намотала ее на палец.

- Я сама еще в девчонках это платье шила.

- Да ну-у-у! Шикарное платье! Шикарное!

- Просмешник! Ладно, все равно другого нет.- Люся уткнулась носом в мятый, будто изжеванный погон лейтенанта и дрогнула: стойкий запах гари, земли, пота не истребило стиркой.- Мне хочется сделать что-нибудь такое...- подавляя в себе тревогу, повертела она в воздухе рукой,- сыграть что-нибудь старинное и... поплакать. Да нет инструмента, и играть я давно разучилась.- Она шевельнула раз-другой кисточками ресниц и отвернулась.- Ну поплыла, баба!.. Как все-таки легко свести нашего брата с ума!..

Борис тронул косу, шею, платье - ровно бы уносило ее от него, эту грустную и покорную женщину, с такими близкими и в то же время такими далекими глазами, уносило в народившийся день, в обыденную жизнь, а он хотел удержать ее, удержать то, что было с ним и только у них.

Она ловила его руки, пыталась прижать к себе: вот, мол, я, вот, с тобой, тут, рядом...

Завтракали на кухне. Люся хотя и прятала глаза, но распоряжалась за столом бойчее, чем прежде. Солдаты многозначительно и незлобно подшучивали, утверждая, что лейтенант шибко сдал после тяжких боев, один на один выдерживая натиск противника, а они вот, растяпы, дрыхли и не исполнили того, чему их учили в школе,- на выручку командиру не пришли. А тоже ведь

пели когда-то: "Вот идет наш командир со своим отрядом! Эх, эх, эх-ха-ха, со своим отрядом!" Отряд-то спать только и горазд! Нехорошо! Запущена политико-воспитательная работа во взводе, запущена, и надо ее подтянуть, чтобы командир за всех один не отдувался.

Только Шкалик ничего понять не мог. Выжатый, мятый, дрожа фиолетовыми губами, он сидел за столом смиренным стриженным послушником, подавленный мирскими грехами. Поднесли ему опохмелиться. Он закрылся руками, как от нечистой силы. Дали человеку капустного рассола с увещанием: "Не умеешь, так не пей!"

Люся убрала посуду, поворошила в столе. Среди пуговиц, ниток и ржавых наперстков отыскала тюбик губной помады. Прикрыв за собой дверь в переднюю, она послунявила засохшую помаду и, подкрасив стертые, побаливающие губы, выскользнула из дому с жестяным бидоном.

Солдаты изготавливались стирать, бриться, чистили одежонку, обувь, нещадно дымили махоркой, переговаривались лениво, донимали Шкалика юмором. Лейтенант слушал их неторопливую болтовню и радовался, что к ротному пока не вызывают, никаких команд не дают и, глядишь, задержатся они здесь.

Разговор вращался вокруг одной извечной темы, к которой русский солдат, как только отделается от испуга и отдохнет немного, неизменно приступает. Пафнутьев правил бритву, посасывая сигарку, щурил глаз от дыма, повествуя:

- Отобедали это мы. Ребятишек дома нету. Тятя и мама уже померли в те поры. Зойка со стола убирает, я курю и поглядываю, как она бегаёт по избе, ногами круглыми вертит. Окна открыты, занавески шевелятся, мальмом со двора пахнет. Тихо. И главное, ни души. Убрала Зойка посуду. Я и говорю: "А чо, старушонка, не побаловаться ли нам?" Зойка пуще прежнего забегала, зашумела: "У вас, у кобелей, одно только на уме! Огород вон не полотый, в избе не прибрато, ребятишки где-то носятся..." - "Ну-к чо,- говорю,- огород, конечно, штука важная. Поли. А я, пожалуй, к девкам подамся!" В силах я еще тогда был, на гармошке пил. Вот убегла моя Зойка. Минуту нету, другу,

пята... Я табак курю, мечтаю... Пых - пара кривых! Влетает моя Зойка уж на изготовке, плюхнулась поперек кровати и кричит: "Подавился, злодей!.."

Хата качнулась от гогота, и сам Пафнутьев закатился, прикрыв замаслившиеся от сладостных воспоминаний глаза, едва ремень бритвою не перехватил. Шкалик капусту ел и чуть не подавился. Малышев завез ему по спине кулаком - слетел солдатик со скамейки и капусту незаметно проглотил. Карышев моторно фукнул ноздрями - со стола спорхнула и закружилась луковая шелуха. Даже застенчиво помалкивающий и больной с похмелья Корней Аркадьевич смял в улыбке блеклые губы. Возвратилась Люся, потаенно улыбаясь, стала манить Бориса в переднюю. Там она сунула ему бидон и заставила пить парное молоко. Не переставая многозначительно улыбаться, вытерла его наметившиеся усы, смоченные молоком, с придыхом сообщила ему на ухо:

- Я узнала военную тайну!

У лейтенанта от удивления открылся рот и лицо сделалось недоверчиво-глуповатое.

- Ваша часть еще день или два простоит здесь! Взводный издал гортанный звук, схватил Люсю, закружил по комнате, да и смахнул с окна зеркальце.

- Ой! - воскликнула Люся.- Это к несчастью!

- Какое несчастье? - рассмеялся Борис.- Ты веришь в приметы? Суеверная ты! Отсталая! Двое суток! Это, что ли, мало?!

Люся молча собирала осколки зеркала. Борис помогал ей и пересказывал байку Пафнутьева. Громко стукнула дверь. Люся сунула стекла в кадку с цветком и поспешила на кухню.

- В ружье, военные! - наигранно бодрясь, хриплым голосом гаркнул старшина и, стукнув валенком о валенок, доложил Борису:- Товарищ лейтенант, приказано явиться на площадь. Подают машины.

- Машины? Какие машины? Двое ж суток!..

- Кто натрепал? - Мохнаков побуровил народ покрасневшими глазами.

Солдаты пожимали плечами. Пафнутьев сверлил пальцем у виска и подмигивал

старшине. Мохнаков собрался отколотить что-нибудь по этому поводу, но очень уж слиняло лицо взводного.- Колонна! - пояснил старшина.- Та самая колонна, что перевозила пленных, отряжена полку. Пехом и за зиму фронт не догнать.

Люся прижалась спиной к двери. Белый платок разошелся, сделались видны на груди черные ленты и вырез платья. Борис пеньком торчал посреди кухни. "Что это вы?" - вопрошал взгляд Мохнакова.

Солдаты ворчали друг на друга, ругали войну, собирая пожитки, толкали лейтенанта. Шкалик рылся в соломе - ремень искал. Старшина поворошил валенком солому, зацепил ремень, похожий на избитую камнями змею, и валенком же закинул его на голову Шкалика.

- Няньку тебе!

Невелик скарб при солдате. Как ни волюнили, но все же собрались. Прощаться начали, все разом заговорили, пожимая руку хозяйке. Привычное дело: тысячу, если не две, сменили они ночевок, двигаясь по фронту.

- Запыживай, запывивай, славяне! - чем-то недовольный, подбрасывал монету старшина.- Машина не конь, ждать не любит!

Солдаты закурили и потянулись, растащив валенками солому на кухне. В хате сделалось пусто, выстужено. Люся двинула спиной дверь и провалилась в комнату.

- Мне извиниться или как?

Заталкивая в полевую сумку пачку писем и полотенце, Борис пустоглазо уставился на Мохнакова.

Старшина что-то глухо бормотнул, прихлопнул шапку на ухе, подкинул монету до потолка, но не сумел ее поймать и, саданув дверью, удалился.

Борис проводил взглядом воинство, выжитое из теплого жилья, и, прежде чем войти в переднюю, постоял, будто у обрыва, затем рывком надел сумку, поправил ворот шинели и толкнул дверь.

Люся сидела на скамье, отвернувшись к окну. Подбородок она устроила на руках, кинутых на подоконник. Она смотрела в окно. Петелька на рукаве платья

соскользнула с пуговицы, черные крылья разлетелись на стороны. Борис застегнул пуговицу, соединил крылышки и тронул руку Люси. Надо было что-то говорить, лучше бы всего шутку какую выдать. Но на ум не приходило никаких шуток.

- Тебя ведь ждут,- повернулась Люся. У нее снова отдалились глаза, но голос был буднично спокоен.

- Да.

- Так иди! Я провожать не буду. Не могу.- И отвернулась, опять устроив на руки подбородок со вдавленной в него ямочкой. В позе ее, в плотно сомкнутых губах, в мелко подрагивающих ресницах было что-то трогательное и смешное. Школьницу, раскапризничавшуюся на выпускном вечере, напоминала она.

Время шло.

- Что же делать-то? - Борис переступил с ноги на ногу, поправил сумку на боку.- Мне пора.- Он еще переступил, еще раз поправил сумку. Люся не отзывалась. Подбородок ее смялся, ресницы все чаще и чаще подрагивали, снова расстегнулся рукав, хвостик косы упал и мокрый желобок рамы. Борис отжал смокшиеся волосы и с сожалением опустил косу на ее спину.

- Я же не виноват...- задержав руку выше выреза платья, чуть слышно сказал он. Нежное, пушистое тепло настоялось под косой, будто в птичьем гнездышке. "Милая ты моя!" - Борис большим усилием заставил себя сдержаться, чтобы не припасть губами к этому теплу, к этой нежной детской коже.

- Конечно,- почувствовав, что он пересилил себя, сказала Люся, глядя на свои руки. Она тут же начала ими суетиться, поправлять ленты, зачем-то сдавила пальцами горло.- Виноватых нет.

- Прощай тогда...- Борис неуклюже, будто новобранец на первых учениях, повернулся кругом, осторожно, точно в больничной палате, притворил дверь и постоял еще, чего-то ожидая, обшаривая кухню глазами - не забыл ли кто чего?

Никто ничего не забыл.

"Солому не убрали. Насвинячили и ушли. Вечно так... Ладно, чего уж...

Долгие провода - лишние слезы..." - Борис подпихал солому в угол и отправился догонять взвод.

Отовсюду тянулись к площади бойцы. Снег хрупал под ботинками, что свежая капуста. Беловатые дымы - топят соломой-облаком стояли над местечком. Располагалось оно меж двух лесистых холмов, в широкой пойме раздвоившегося ручья, который впадал в речку пошире. За речкой вдоль берега тянулись хаты и сады с церковкой посередине.

Борис подивился этой церковке, он почему-то ее прежде не заметил. Заречье побито. Сшиблен купол церкви. Деревянный гужевой мост сожжен, перила обвалились, лед темнел лоскутьями, парило из пробоин. В хуторе тоже топились печи, дымы оттуда тянулись вдоль реки, в местечке еще чадил за огородами сгоревший ночью дом.

Почему, отчего не оборонялись немцы по эту сторону реки, а подались в голоземье, забрались в овраги и решили прорываться оттуда? У войны свой особый нор, своя какая-то арифметика. Иной раз выбьют взвод, роту, но один или два человека останутся даже не поцарапанными. Или расщепают снарядами и бомбами селение, но в середине хата стоит. Вокруг нее голые руины, в ней же и окна целы!

Ротный командир Филькин, получивший в свое распоряжение технику, чувствовал себя полководцем и сразу зафорсил. Он глядел на Бориса как бы уже издалека, будто выявляя в нем и в себе значительность перемен. Рукою, туго-натуго обтянутой хромовой перчаткой, по всем видам дамской, Филькин повелительно указывал, кому на каких машинах ехать, какую дистанцию держать.

Весело, с прибаутками, военные рассаживались по машинам. Нет народа благодущнее солдат, выспавшихся, поевших горячей пищи, да еще к тому же узнавших, что не топтать ножками до передовой.

Откуда-то взялись две хохлушки в одинаковых желтых кожанках с меховым подбоем, в цветастых платках. Белозубые, спелые, будто сошли дивчины эти с картин Малявина или Кустодиева, точнее с довоенных выставочных плакатов. Ни

один солдат не проходил мимо дивчин просто так. Каждый оделял их вниманием: кто слово подходящее бросал, кто похлопывал, кто норовил и под колушок рукою влезть.

Хохлушки повизгивали, отражая атаки пехоты: "Гэть, москаль! Гэть!", "Та что ж ты, скаженный кацап, робышь?!", "Ну ж, ну ж! Ой, лыхо мани!", "Та ихайте скорийше!"

Но по всему было видно - не хотелось им так скоро отпустить москалей и правилась вся эта колготня вокруг них.

Никакого душевного потрясения Борис еще не испытывал, лишь чувствовал, как непросохший, затвердевший на морозе воротник обручем сдавливал шею, да шинелью снова жгло, пилило натертое место, да от холода ли, от заостеневшего ли воротничка было трудно дышать, мысли ровно бы затвердели в голове, остановились, но сердце и жизнь, пущенные в эту ночь на большую скорость, двигались своим чередом. До остановки было далеко, до горя и тоски чуть ближе, но лейтенант пока этого не знал. Он суетливо бегал вокруг машины, возбуждался с каждой минутой все больше, даже потрепал хохлушей по красивым платкам. Очень он изменился за короткий срок. Прежде не только дотрагиваться, но и взглянуть вожаделенно на дивчин не решился бы.

- Мужаешь, Боря! - изумился Филькин.

Лейтенант собрался ответить шуткой же, по увидел Люсю. В наспех заброшенном на голову шерстяном платке, в тех самых черных туфлях налетела она и принародно стала целовать Бориса, затем забралась в машину и солдат, ночевавших в ее доме, всех перецеловала,- какие они сделались родные,- говорила, чтобы лейтенанта берегли,- наказывала,- чтобы Шкалику больше пить не давали.

Солдаты, ночевавшие в других хатах, завистливо ахали и громко требовали, чтобы им тоже было уделено внимание. Корней Аркадьевич снял с Люси туфлю, вытряхнул снег. Опираясь на плечо Малышева, Люся стояла на одной ноге, смеялась сквозь слезы и что-то говорила, говорила.

- Храни тебя Бог, дочка! - надев на нее туфлю, сказал Корней

Аркадьевич. Карышев поправил на ней платок и вскользь погладил по голове.

Машины двинулись резво, будто застоявшиеся кони. Борис притиснул Люсю к груди, надавил пряжкой полевой сумки ей на нос, и какое-то время она чувствовала только эту боль.

- Лейтенант! Лейтенант! - торопил взводного шофер, сдерживая машину.- Колонна уходит, а я маршрута не знаю.

Что-то с хохотом кричали солдаты с проходивших машин. Кто-то бросил в них снежком. По другую сторону машины курил и топтался на месте Мохнаков, не решаясь лезть в кузов.

- Раньше бы хоть помолились,- сказала Люся, теребя отвороты его шинели,- но мы же неверующие. Атеисты мы говенные. Осталось только завывать во весь голос...

- Вот еще! Только этого и не доставало! - боязливо оглядываясь на машины, забормотал Борис и начал отстранять ее от себя:- Озябла. Ступай!

Взводный оторвался-таки от женщины, точнее, оторвал ее от себя, запрыгнул в кабину, саданул железной дверцей и тут же открыл ее, готовый повиниться за обиду, нанесенную ей. По "студебеккер", сыто заурчав, рванулся с места в карьер-взводного вдавило в спинку сиденья. Люсю отбросило назад, заволокло дымом выхлопов - она осталась в его памяти потерянная, недоумевающая, с судорожно перекошенным ртом.

Бойцы на машинах пели, ухали, подсвистывали сами себе. В истоптанном снегу еще дымились окурки, кружился над дорогой синеватый бус, а колонна уже взнималась за местечком на косогор, голова ее подползла к лесу.

- Адрес! - сорвалась и побежала Люся.- Батюшки! Адрес-то!..

Оглушенная, растерянная, она мчалась следом за колонной. Да разве машины догонишь.

На опушке соснового бора, равнодушно тихого, мрачноватого, того самого, где висел на сосне рассыпающийся скелет чужеземца, тупорылая заморская

машина задела кабиной ветку сосны, другую, третью - снег, будто занавес в театре, упал, закрыв от нее все на свете.

Люся остановилась, обессиленная, задохнувшаяся.

Что мог значить какой-то адрес? Зачем он? Время помедлило, остановилось на одну ночь и снова побежало, неудержимо ведя свой отсчет минутам и часам человеческой жизни. Ночь прошла, осталась за кромкой народившегося дня. Ничего невозможно было поправить и вернуть.

Все было, и все минуло.

Мимо двигалась другая колонна. Бойцы показывали на снег, на хаты, на ноги женщины. Не в силах поднять руку, помахать им, Люся качалась всем телом в поклоне, твердя одно и то же:

- Воюйте скорее, миленькие. Живые будьте все... Воюйте... Живые будьте...

Вернулась она домой полузамерзшая. Туфли на ней каменно стучали. На волосах лежал снег. Конец намерзлой косы свинцовым грузилом бился в спину. Не раздеваясь, по-звериному подвывая, Люся залезла в постель, неосознанно надеясь, что там еще хранится тепло.

Хату заняли солдаты тыловой части. Пожилой, но молодежавший сержант постучал в дверь, вошел и начал оправдываться.

- Было открыто. Мы думали - хата брошена...

- Живите.

Страхивая туфли с ног, Люся пыталась натянуть на себя одеяло, прижаться к чему-нибудь, стучала зубами и все протяжней завывала не отверделым ртом, а всем нутром своим - там, в опустошенном нутре, возникал звук тоски, горя и вырывался наружу воем долгим, непрерывным. На этот вой снова явился пожилой сержант.

- Вам, может...- хотел предложить он помощь женщине. Она подняла голову и, не переставая завывать, глядела и не видела его. В глазах ее, отдаленно темных, возник переменчивый блеск, будто искрила изморозь по сухим зрачкам,

из которых выело зерно, они сделались пустотелыми.

Сержант вежливо упятился из комнаты, на цыпочках ушел на кухню и шепотом сообщил команде, что хозяйка у них сошла или сходит с ума.

Часть четвертая. УСПЕНИЕ

И жизни нет конца

И мукам - краю.

Петрарка

Подбирая изодранный белый подол, зима поспешно отступала с фронта в северные края. Обнажалась земля, избитая войною, лечила самое себя солнцем, талой водой, затягивала рубцы и пробоины ворсом зеленой травы. Распускались вербы, брызнули по косогорам фиалки, заискрилась мать-и-мачеха, подснежники острой пуглей раздирали кожу земли. Потянули через окопы отряды птиц, замолкая над фронтом, сбивая строй. Скот выгнали на пастбища. Коровы, козы, овечки выстригали зубами еще мелкую, низкую травку. И не было возле скотины пастухов, все пастушки школьного и престарелого возраста.

Дули ветры теплые и мокрые. Тоска настигала солдат в окопах, катилась к ним в траншеи вместе с талой водой.

В ту пору и отвели побитый в зимних боях стрелковый полк на формировку. И как только отвели и поставили его в резерв, к замполиту полка явился выветренный, точно вобла, лейтенантишко - проситься в отпуск.

Замполит сначала подумал-лейтенант его разыгрывает, шутку какую-то придумал, хотел прогнать взводного, однако бездонная горечь в облике парня

удержала его.

Стал разговаривать со взводным замполит, а поговоривши, и сам впал в печаль.

- Та-ак,- после долгого молчания протянул он, дымя деревянной хохлацкой люлькой. И еще протяжней повторил, хмурясь: - Та-а-а-ак. - Взводный как взводный. И награды соответственные: две Красные Звезды, одна уж с отбитой глазурью на луче, медаль "За боевые заслуги". И все-таки было в этом лейтенантишке что-то такое...

Мечтательность в нем угадывалась, романтичность. Такой народ, он порывистый! Этот вот юный рыцарь печального образа, совершенно уверенный, что любят только раз в жизни и что лучше той женщины, с которой он был, нет на свете,- возьмет да и задаст тягу из части без спросу, чтобы омыть слезами грудь своей единственной...

"Н-да-а-а-а! Умотает ведь, нечистый дух!" - горевал замполит, жалея лейтенанта и радуясь, что не выбило из человека человеческое. Успел вот когда-то втюриться, мучается, тоскует, счастья своего хочет. "А если потом и штрафную..."

Смутно на душе замполита сделалось, нехорошо. Он поерзал на скрипучей табуретке и еще раз крепкой листовухой набил люльку. Набил, прижег, раскопегарил трубку и совсем не по-командирски сказал:

- Ты вот что, парень, не дури-ка!

Тоска прожгла глаза лейтенанта. Никакие слова ничего не могли повернуть в нем. Он что-то уже твердо решил, а что он решил - замполит не знал и повел разговор дальше: про дом, про войну, про второй фронт, надеясь, что по ходу дела что-нибудь обмозгует.

- Стоп! - замполит даже подпрыгнул, по-футбольному пнул табуретку.- Ты в рубашке родился, Костяев. И тебе везет. Значит, в карты не играй, раз в любви везет...- Он вспомнил, что политуправление фронта собирает семинар молодых политруков. Поскольку многих политруков в полку выбило за время

наступления, решил он своей властью отрядить в политуправление взводного Костяева и впоследствии назначить его политруком в батальоне- парень молодой, начитанный, пороху нюхал.

- Дашь крюк, но к началу занятий чтобы как штык! Суток тебе там хватит?

- Мне часа хватит.- Лейтенант как будто и не обрадовался. Терпел он долго, минуты своей ждал. И чего, сколько в нем за это время перегорело...

- Давай адрес. Надо ж документы выписать.

- А я не знаю адреса!

- Не зна-а-е-ешь?!

- Фамилию тоже не знаю.- Лейтенант опустил глаза, призадумался.- Мне иной раз кажется - приснилось все... А иной раз нет.

- Ну ты силе-о-о-он! - с еще большим интересом всмотрелся в лейтенанта замполит.- Как дальше жить будешь?

- Проживу как-нибудь.

- Иди давай, антропос! - безнадежно махнул рукой замполит.- Чтобы вечером за пайком явился. Помрешь еще с голодухи.

О чем он думал? На что надеялся? Какие мечты у него были? Встречу придумал - как все получится, какой она будет, эта встреча?

Приедет он в местечко, сядет на скамейку, что неподалеку от ее дома стоит, меж двух тополей, похожих на веретешки. Скамейку и тополя он запомнил, потому что возле них видел Люсю в последний раз. Он будет сидеть на скамейке до тех пор, пока не выйдет она из хаты.

И если пройдет мимо...

Он тут же встанет, отправится на станцию и уедет. Но он все-таки уверил себя - она не пройдет, она остановится. Она спросит: "Борька! Ты удрал с фронта?" И, чтобы поугать ее, он скажет: "Да, удрал! Ради тебя сдесертировал!.."

И так вот сидел он на скамейке под тополями, выбросившими концы клейких беловатых листочков, запыленный от сапог до пилотки. Ждал. Люся вышла из

дому с хозяйственной сумкой, надетой на руку, закрыла дверь. Он не отрываясь смотрел. Диво-дивное! Она в том же платье желтеньком, в тех же туфлях. Только стоптались каблуки, сбились на носках туфли, на платье уже нет черных лент, нарукавнички отлиняли, крылья их мертво обвисли.

Люся похудела. Тень легла на глаза ее, коса уложена кружком на затылке, строже сделалось лицо ее, старше она стала, совсем почти взрослая женщина.

Она прошла мимо.

Ничего уже не оставалось более, как подаваться на станцию, скорее вернуться в часть, тут же отправиться на передовую и погибнуть в бою.

По Люся замедлила шаги и осторожно, будто у нее болела шея, повернула голову:

- Борька?!

Она подошла к нему, дотронулась, пощупала медаль, ордена, нашивку за ранение, провела ладонью по его щеке, услышала бедную, но все же колючую растительность.

- В самом деле Борька!

Так и не снявши сумку с локтя, она сползла к ногам лейтенанта и самым языческим манером припала к его обуви, иступленно целуя пыльные, разбитые в дороге сапоги...

Ничего этого не было и быть не могло. Стрелковый не отводили на переформировку, его пополняли на ходу. Теряя людей, не успевая к иным солдатам даже привыкнуть. Борис топал и топал вперед со своим взводом все дальше и дальше от дома, все ближе и ближе к победе.

По весне снова заболел куриной слепотой Шкалик, отослан был на излечение и оставлен работать при госпитале, чему взводный радовался. Да вот днями прибыл на передовую Шкалик, сияет, радуется - к своим, видите ли, попал.

Неходко, мешковато топают пехота по земле, зато податливо.

Привал. Залегли бойцы на обочине дороги. Дремлет воинство, слушает,

устало смотрит на мир божий. Старая дорога булыжником выстелена, по бокам ее трава прочикнулась, в поле аист ходит, трещит клювом что пулемет, над ставком, обросшим склоненными ивами, кулик кружит или другая какая длинноклювая птица. Свист, клекот, чирикание, пенье. Теплынь. Красота. Весна идет, движется.

Карышев сходил к ближней весенней луже. Котелком чиркнул по отражению облака, разбил его мягкую кучу, попил бодрой водички. Куму принес, тот попил, крякнул, другим бойцам котелок передал. До лейтенанта Костяева дошел котелок, он отвернулся, сидит, опустив руки меж колен, потерянный какой-то, далекий ото всех, уже солнцем осмоленный, исхудалый.

Старшине Мохнакову котелок с водой не дали, в отдалении он лежал, тоже отрешенный ото всех, мрачный - не досталось ему воды.

- Ох-хо-хо-оо-о,- вздохнул Карышев, соскребая густо налипшую черную землю с изношенных ботинок.- Этой бы земле хлеб рожать.

- А ее сапогами, гусеницами, колесом,- подхватил кум его и друг Малышев.

- Да-а, ни одна война, ни одна беда этой прекрасной, но кем-то проклятой земли не миновала,- не открывая глаз, молвил Корней Аркадьевич Ланцов.

- А правда, ребята, или нет, что утресь старую границу перешли? - вмешался в разговор Пафнутьев.

- Правда.

- Мотри-ка! А я и не заметил.

- Замечай! - мотнул головой Ланцов на танк, вросший в землю, пушечкой уткнувшийся в кювет. Машину оплело со всех сторон сухим бурьяном, под гусеницами жили мыши, вырыл нору суслик. Ржавчина насыпалась холмиком вокруг танка, но и сквозь ржавчину просунулись острия травинок, густо, хотя и угнетенно, светились цветы мать-и-мачехи.- Если завтра война! Вот она, граница-то, непобедимыми гробами помечена...

Старшина Мохнаков молча подошел к Пафнутьеву, взял его карабин, передернул затвор, не целясь ударил в бок танка. На железе занялся дымок и обнажилась черной звездочкой пробоина. Старшина постоял, послушал, как шуршит ржавчина, засочившаяся из всех щелей машины, и бросил карабин Пафнутьеву:

- А мы и на таких гробах воевали.

- И довоевались до белокаменной,- ворчал Ланцов.

- Было и это. Все было. А все-таки вертаемся и бьем фрица там, где он бил нас. И как бил! Сырыми бил, и не бил - прямо сказать, по земле размазывал... Но вот мы вчера, благословясь, Шепетовку прошли. Я оттудова отступать начал.- Старшина недоуменно огляделся вокруг, что, мол, это меня понесло? Набычился, снова отошел в сторону, лег на спину и картуз, старый, офицерский, на нос насунул.

- Постой, постой! - окликнул его Пафнутьев:- Это не там ли родился какой-то писатель-герой?

- Там! - буркнул из-под картуза Мохнаков.

- А как же его фамиль? И чо он сочинил?

- Горе без ума! - усмехнулся Корней Аркадьевич.

- "Горе от ума" написал Грибоедов,- не шевелясь и не глядя ни на кого, тусклым голосом произнес лейтенант Костяев: - В Шепетовке родился Николай Островский и написал он замечательную книгу "Как закалялась сталь".

- Благодарствую! - приложил руку к сердцу Ланцов.

- Что за люди? - с досадою хлопнул себя по коленям Пафнутьев: - Где шутят, где всурьез? Будто на иностранном языке говорят, блядство.

- А такие, как ты, чем меньше понимают, тем спокойней людям,- лениво протянул Ланцов.

- Зачем тоды бают: ученье - свет, неученье - тьма?

- Смотри кого и чему учат.

- Убивать, например,- снова едва слышно откликнулся Борис.

- Самая древняя передовая наука. Но я другое имел в виду.

- Уж не марксистско-ленинскую ли науку? - насторожился малограмотный, но крепко в колхозе политически подкованный Пафнутьев.

- Я ученье Христа имел в виду, учение, по которому все люди - братья.

- Христа-то хоть оставьте в покое! Все да на войне...- поморщился Костяев.

- И то верно! - решительно поднялся с земли старшина Мохнаков.-

Разобрать имущество! Ш-гом арш! Запыживай, славяне. Берлин недалеко.

Появился на передовой капитан из какого-то штабного отдела, молодой еще, но уже важный. Он принес ведомость на жалованье. Солдаты шумно изумлялись - им, оказывается, идет жалованье. Расписались сразу за все прошедшие зимние месяцы, жертвуя деньги в фонд обороны. После этого капитан прочитал краткую лекцию о пользе щавеля, о содержании витаминов в клевере, в крапиве, так как последнее время с кухни доставляли зеленую похлебку, поименованную бойцами дристухой. Солдаты грозились заложить гранату в топку кухни. Лекцию насчет пользы витаминов капитан провел как бы в шутку и как бы всерьез, на вопросы отвечал шуткою, но построжел, когда его спросили: не с клевера ли у него брюшко? От больного сердца, сообщил капитан. Бойцы и это сообщение почли шуткой, очень удачной, и главное, к месту. Разговор сам собою перешел на второй фронт. Крепкими словами были обложены союзники за нерасторопность и прижимистость - все сошлись на том, что из-за них, подлых, приходится жрать зеленец и переносить, все более затягивающиеся временные трудности.

Капитан пострелял из снайперской винтовки по противнику, даже в легкую атаку на село сходил, занявши которое, солдаты подшибут гуся, якобы отбившегося от перелетной стаи. Важный капитан понимающе посмеивался, глодая вместе с бойцами кости дикого гуся.

Мясцом капитана попотчевал Пафнутьев. Он притирался к гостю, таскал его багажишко, выкопал ему щель, принес туда соломки, вовремя, к месту

интересовался: "Может, еще покушаете, товарищ капитан? Может, вам умыться наладить?"

Увел Пафнутьева капитан с собой. "Кум с возу - кобыле легче!" - решили во взводе.

Во время затиший Пафнутьев навещал родную пехоту, всех без разбору угощал папиросами из военторга. Поболтав о том о сем, поотиравшись на переднем краю, он уволакивал узел трофейного барахла: одеял немецких, плащ-палаток, сапог. Барахлишко - догадывались солдаты - Пафнутьев менял на жратву и выпивку, словом, ублажал начальство. И ублажил бы, да заелся.

Мохнаков мрачно бухнул Пафнутьеву:

- Ты вот что, куманек! Или выписывайся из взвода, или бери лопату и вкальвай до победного конца. Уж двадцать лет как у нас холуев нет.

- Холуев, конечно, уж двадцать лет как нет,- не вступая в пререкания со старшиной, поучительно ответил Пафнутьев,- да командиры есть, и кто-то должен им приноравливать. Товарищ капитан не умеют ни стирать, ни варить. Антилигент они.- Докурив папироску, Пафнутьев поглядел на нейтральную полосу, за которой темнели немецкие окопы,- туда ночью ходили в разведку боем штрафники.- Штрафников-то полегло э сколько! - захохотал Пафнутьев.- Грех да беда не по лесу ходят, все по народу. Хуже нет разведки боем. Все по тебе палят, как по зайцу.

Мохнаков взял Пафнутьева за ворот гимнастерки, придавил к стене траншеи, поднес ему гранату-лимонку под нос и держал гостя так до тех пор, пока тот не захрипел.

- Понюхал?! - старшина подкинул вверх и поймал гранату.- Все понял?

- Как не попать? Ты так выразительно все объяснил.

- Тогда запыживай отсюда!

- Я-то запыжу,- отдышавшись, начал мять папироску пляшущими пальцами Пафнутьев. Закурив, он уставился на трофейную зажигалку, излаженную в виде голой бабы со всеми ее предметами и подробностями. Огонь у нее высекался

промеж ног.- Я-то запыжу,- убирая зажигалку в нагрудный карман, нудил Пафнутьев.- Вот как бы ты вместе с Боречкой не запыжили туда...- кивнул он головой на нейтралку, где с ночи лежали и мокли под дождем убитые штрафники.

Старшина снова хотел дать ему гранату понюхать, но в это время его кликнули к командиру, и он, погрозив пальцем Нафпутьеву: "Мотри у меня!" - удалился. "Да, а если не потрафишь товарищу капитану, да ежели он сюда меня вернет, да ежели бой ночью..."

- Не стражай девку мудями, она весь видала! - задергался, завизжал Пафнутьев. Однако Мохнаков его уже не слышал.

Между тем наступление продолжалось, хотя и шло уже на убыль. Части переднего края вели бои местного значения, улучшали позиции перед тем, как стать в долгую оборону.

Из штаба полка было приказано взводу Костяева разведать хутор, если возможно, захватить высотку справа от него и закрепиться. Мохнаков день проторчал в ячейке боевого охранения, с биноклем - высматривал, вынюхивал. Ночью, тихонько ликвидировав ракетчиков и боевое охранение немцев, пробрался с отделением автоматчиков в хутор, поднял невообразимый гам и пальбу, такую, что хутор фашисты в панике оставили, и высотку тоже.

Стрелки забрались в избы, от которых тянулись ходы сообщений на высотку, и блаженно радовались тому, что не надо копать. На высотке брошен был живехонький еще наблюдательный пункт, даже печка топилась в блиндаже, на ней жарились оладьи, телефон был подсоединенным. "Гитлер капут!" - орал в телефон бойцы, макая горячие оладьи в трофейное масло, вкус которого они начали забывать. С другой стороны им отвечали: "Русиш швайне!"

Вырывая друг у дружки трубку, удачливые автоматчики лаяли немцев, дразнили их, чавкая ртом, потом пели похабные песни с политическим уклоном.

Поверженный противник не выдержал полемики и телефон свой отцепил, пообещав сделать русским Иванам "гросс-капут".

Тут как тут явились на отвоеванный НП артиллеристы и выперли веселую

пехоту из уютного блиндажа. Коря артиллеристов: всегда, мол, мордатые заразы лезут на готовенькое, стрелки подались в хутор и начали варить картошку, возбужденно рассказывая друг другу о том, как остроумно беседовали с фрицем по телефону.

Для взаимодействия и связи с артиллеристами на высоте остались Мохнаков и Карышев. Утром установлено было, что весь скат высоты и низина за огородами хутора, да и сами огороды с зимы минированы: еще один оборонительный вал сооружали немцы.

Около полудня появился в поле боец и попер напропалую по низине.

- Кого это черти волокут?-Карышев приложил ко лбу руку козырьком.

Старшина повернул стереотрубу, припал к окулярам.

- Сапер запыхивает,- почему-то недобро усмехнулся он и еще что-то хотел добавить, но в низине хлопнуло, вроде бы как дверью в пустой избе, подпрыгнула и рассыпалась травянистая кочка, выплеснулся желтый дымок.

- А-а-ай! Мамочка-а-а! - донеслось до окопов. Карышев, тужась слухом, всполошенно хлопнул себя по бокам:

- Это ведь Пафнутьев! - и заругался: - Какие тебя лешаки сюда ташшили, окаянного? Трофеи унюхал, трофеи!

- А-а-ай! А-а-а-ай! Помогите-и-ы-ыте-е-е-е! Помогите-и-ы-ыте!

Карышев перестал ругаться, засопел, мешковато полез из окопа. Старшина сдернул его за хлястик шинели обратно:

- Куда прешь, дура! Жить надоело?

Старшина обшарил в артиллерийскую стереотрубу всю низинку. Была она в плесневелых листьях, на кочках серели расчесы вейника, колоски щучки и белоуса, под кочками уже обозначались беловатые всходы калужника, прокололись иголки свежего резуна. В кочках бился Пафнутьев, разбрызгивая воду и грязь, и все кричал, кричал, а над ним заполошно крутился и свистел болотный кулик.

- Будь здесь! - наказал старшина Карышеву.

Мохнаков отполз за высотку, поднялся и, расчетливо осматриваясь, выверяя каждый шаг, будто на глухарином току, двинулся в заболоченную низину. Его атаковали чибисы, стонали, вихлялись возле лица.

- Кшить, дураки! Кшить! - старшина утирал рукавом пот со лба и носа.-

Рванет, так узнаете!

Он добрался до Пафнутьева, вытянул его из грязи. Ноги Пафнутьева до пахов были изорваны противопехотной миной. Трава от взрыва побелела и пахла порченым чесноком. Мохнаков неожиданно вспомнил, как дочка его, теперь уже невеста, отведавши первый раз в жизни колбасы, всех потом уверяла, что чеснок пахнет колбасой. Дети, семья так редко и всегда почему-то внезапно вспоминались Мохнакову, что он непроизвольно улыбнулся этому драгоценному озарению. Пафнутьев перестал кричать, испугавшись его улыбки.

- Не бойся! - буркнул Мохнаков.- На вот, кури.- Засунув сигарету в рот солдата, старшина похлопал себя по карманам - спички где-то обронил.

Пафнутьев суетливо полез в нагрудный карман - там у него хранилась знатная зажигалка.

- Возьми зажигалку на память.

- Упаси вас Бог от тебя и от твоей памяти.

- Прощенья прошу, Миколай Василич,- запричитал Пафнутьев.- Наклепал я на товарища лейтенанта. На тебя наклепал. Мародерство... Связь... Связь командира с подозрительной женщиной...

- Его-то зачем? Ну я, скажем, злодей. А его-то?..

Перевязывать было много и неловко. Старшина вынул из кармана свой пакет, разорвал его зубами. Пафнутьев все причитал, каялся:

- Гадина я, гадина! Скоко людей погубил, а вот погибель приспела - к людям адресуюся...

- Ладно, не ори! В ушах аж сверлит! - прикрикнул старшина.- Люди на войне братством живы, так-то...

- Выташшы, Миколай Василич! Ребятишки у меня, Зойка. Сам семейный...

Всю жизнь... молить всю жизнь... И эту... гадство это... спозаброшу...
замолю... грех... молитвой жить...- Мохнаков хотел сказать: "Хватился когда
молиться",- но Пафнутьев пискнул, захлебнулся и умолк - старшина туго-натуго
притянул бинтами к паху его мошонку. "Чтобы не укатилось чего куда",- мрачно
пошутил он про себя, взваливая на загорбок податливую, будто разваренную
тушу солдата.

В траншее наладили носилки из жердей и плащ-палатки. Перед тем как
унести Пафнутьева из окопа, влили ему в рот глоток водки. Он поперхнулся,
открыл захлестнутые плывущим жаром глаза, узнал Бориса, Карышева и Малышева.

- Простите, братцы! - Пафнутьев попробовал перекреститься, по его
отвалило на носилки, и он заплакал, прикрыв лицо рукой. Кадык его, покрытый
седой реденькой щетиной, ходил челноком.

Карышев и Малышев подняли носилки. Борис проводил их взглядом до
низинки. Старшина что-то недовольно бубнил, оттирал соломой гимнастерку и
штаны.

Досадный был кум-пожарник Пафнутьев, притчеватый, как называли его
алтайцы, и пострадали за него, притчеватого.

Доставив Пафнутьева живым до санбата, они, утомленные ношей, уже
вечером, благостно-теплым, неторопливо возвращались на передовую, подходили
к хутору, утратив осторожность.

Хлестко, но без эха ударил выстрел.

Карышев сделал шаг, второй, все с тем же ощущением в душе благодати
деревенского вечера. Не выстрел это, нет, с оттяжкой щелкнул бичом
деревенский пастух, гнавший из-за поскотины, с первой травки залежавшихся в
зимних парных стайках коров. Ноги солдата уже подламывались в коленях, но
все еще видел он избы, тополя, резко очерченные в предсумерье, жиденюкую,
еще не наспелую вечерницу-зорьку, слышал запах преющей стерни на пашне и
накатисто, волною плывущий из лога шорох молодой травы - ремень траншеи
стеганул его по глазам, все вокруг встало на ребро, опрокинулось на солдата:

дома, деревья, пашня, небо...

- Ку-у-у-ум! - дико закричал Малышев, подхватывая рухнувшего земляка.

- Западите! Западите! - ссаженным голосом кричал, спеша по траншее, Мохнаков.

Карышев и Малышев - опытные вояки, поняли его, запали в кочках, чтобы снайпер не добил их.

Пуля угодила Карышеву под правый сосок, искорежив угол гвардейского значка. Он был еще жив, когда его доставили в хуторскую избу, но нести себя в санбат не разрешил.

- Уби-тый я,- проговорил он, прерывисто хлебывая воздух.

Малышев старался подложить под голову и спину Карышева чего-нибудь помягче, чтобы тому легче дышать, вытирал ладонью вспыхивающую на губах друга красную пену и все насылался:

- Попьешь, может, кум? Может, чего надо? Ты не черни, ты спрашивай...-

Губы Малышева разводило, лицо его было серое, лысина почему-то грязная, весь он сузился, исхудал разом, сделалось особенно заметно, какой он пожилой человек.

Борис махнул рукой, чтобы бойцы уходили из избы. Все понурясь ушли. Встав на колени перед Карышевым, взводный поправил солому под ним и затих, не зная, что сказать, что сделать. По хате поплыл тонкий, протяжный звук, будто из телефонного зуммера. Это Малышев зашелся в плаче, из деликатности стараясь придавить его в себе.

Карышев отходил. Он прижмурил глаза с уже округлившимися глазницами и открыл их, сказав этим лейтенанту "прощай", перевел взгляд на кума. Борис понял - ему надо уходить. Взводный распрямился и не услышал под собою ног.

- Моих-то,- прошептал Карышев.

- Да об чем ты, об чем!.. Не сомневайся ты в смертный час! -

по-деревенски пронзительно запричитал Малышев.- Твоя семья - моя семья... Да как же мне жить-то теперича-а-а! Зачем мне жи-ить-то?..

Борис шагнул в темноту, нащупал перед собой стойку или столб, уперся лбом в его холодную твердь и, ровно бы грозя кому, повторял: "Так умеют умирать русские люди! Вот так!.."

В хуторе тихо. За хутором реденько и меланхолично всплывали ракеты, выхватывая мертвым светом из темноты кипы садов, белые затаившиеся хатки, уткнувшиеся в небо утесами придорожные тополя.

- Преставился.

Борис прижал Малышева к себе и почему-то начал гладить его по голой, прохладной голове. Шумно работая носом, Малышев рассказывал, как жили они душа в душу с кумом до фронта; женились в один день; в колхоз записались разом. Бывало, гуляют, так кум домой утайкой волокется, а он, Малышев, дурак такой, орет на всю улицу: "Отворяйте ворота, да поширше!.."

Ночью, без шума, без лишней возни, под звездами схоронили Карышева, сделали крест из жердей, и последний приют алтайского крестьянина как-то очень впору пришелся на одичалом хуторском погосте, реденько заселенном разномастными крестами и камнями с непонятной вязью слов, придавившими чьи-то древние могилы. Кусты бузины клубились на закрайках погоста, низкий колючий терновник, уже набравший цвет, окаймлял его вместо ограды. С единственного старого дерева, стоявшего среди могил, шарахнулась в темноту зловещая птица.

На этом же кладбище было три свежих креста с надетыми на них рогатыми касками. Малышев, возвращаясь в хутор, с глухим рычанием бросился на тополевые кресты, пустившие побеги, выворотил их, побросал за ограду, туда же пустил и ржавые каски. Они громко звякнули в темноте.

Замкнулся, умолк, совсем отделился от людей старшина. От висков, из-за ушей прострелили его лицо пучки морщин. Рот стянуло, губы потрескались. Ходил он неловко, будто прихватывало морозом мокрые втоки. Спал мало, ел из своей посуды, чтобы не заразить солдат, бросил пить совсем, в земляной работе сделался немощен, курил беспрестанно, да военное дело выполнял с

лютостью-искал смерти.

Но и смерть его сторонилаь.

Раздобыл старшина чистое белье, новый вещмешок. Белье надел, вещмешок упрятал в ячейке. В мешке было что-то круглое. Бойцы думали - домашний каравай хлеба. Но разнюхали - противотанковая там мина. Зачем она старшине, гадали.

Не отбив сгоряча, дуриком у них взятую высотку, немцы пытались малыми силами взять ее обратно, и были отброшены. Тогда они подготовились к атаке тщательней, заскребли все, что осталось под рукой, и даже четыре танка бросили в атаку. Артиллеристы ударили по танкам, один повредили, остальные россыпью рванули к окопам, достигли высотки. Пэтээрщики, побухав из ружей по лобовой броне танков, пали на дно ячеек, носом в грязную землю. Танки навалились, утюжат траншею, и никакой на них управы нету. Старшина Мохнаков не отрывался от стереотрубы артиллеристов, хотя те и ругались, прогоняя его. Окутанный пылью, резво брэнча левой ослабшей гусеницей, покачивая надульником пушки, лез к наблюдательному пункту бывалый танк. На лобовой броне его всплескивали цапины, пестрая краска отваливалась лоскутьями, свежий, сизый шов электросварки тянулся от переднего люка к поддону.

Давно воюет этот танк, умелый в нем водитель, маневрирует смело, в пыль прячется, боков не подставляет. Такой танк за десяток машин наработает!..

Мохнаков надел вещмешок за спину, затаился в последний раз от толстой сигарки, притоптал окурок. "Запыживай, паря!" - сказал себе и выпрыгнул из окопа. Он подпустил машину так близко, что водитель отшатнулся, увидев в открытый люк вынырнувшего из дыма и пыли человека. И старшина Мохнаков увидел опаленное лицо водителя в детской розовой кожице - бровей и ресниц у него не было. Горел водитель, и не раз горел.

Они глядели друг на друга всего лишь мгновение, но по предсмертному ужасу, мелькнувшему в водянистых глазах водителя, не трудно догадаться было - немец все понял: русский солдат с тяжелым, ссохшимся лицом идет на смерть.

Танк дернулся, затормозил. Но Мохнаков уже нырнул под гусеницу, она вмяла его в прошлогоднюю запыленную стерню. От взрыва противотанковой мины старая боевая машина треснула по недавно сделанному шву. Траки гусеницы забросило аж в траншею.

А там, где ложился старшина Мохнаков под танк, осталась воронка с испепеленной по краям землею и черными стерженьками стерни. Тело старшины, пораженное заразной, неизлечимой в окопах болезнью, вместе с выгоревшим на войне сердцем разнесло, разбросало по высотке, туманящейся с солнечного бока зеленью.

В полевой сумке Мохнакова, оставленной на НП, обнаружались награды, приколотые к бязевой тряпочке, и записка командиру взвода. Просил его старшина позаботиться о жене и детях. Адрес: "Райцентр Мотыгино, Красноярского края, улица, номер дома..."

Но через несколько дней командира взвода и самого ранило в правое плечо осколком мины. Он почти сутки еще просидел в земляной норке на изопревшей соломе, баюкая прибинтованную к туловищу руку, налитую синенькой краской и клейковато заблестевшую. Замениться нечем: старшины не стало, младших командиров выбило за весеннее наступление, Ланцова, Корнея Аркадьевича будто бы в армейскую газету забрали, но солдаты поговаривали, что совсем его в другое место забрали за чернокнижье, за приверженность к Богу и вредным разговорам. Грешили на Пафнутьева - он, змеина, заложил человека. Из старых солдат остались во взводе Малышев да Шкалик.

Усталые, издерганные боями, вымазанные окопной глиной, солдаты, большей частью вернувшиеся из госпиталей или собранные по украинским селам, из-за распутицы питающиеся чем попало, привычно и безропотно вели свои будничные фронтовые дела, изредка заглядывая ко взводному в норку, не за распоряжениями, нет, а просто узнать-не надо ли чего ему?

Вечером дежурный по взводу сунул в щель котелок, оставил на тряпочке ржаную лепешку собственной выпечки. Борис прилепился к теплomu ободку и

частыми глотками отхлебывал кипяток, заправленный лежалыми буряками. Лепешка хрустели на зубах. Солдаты толкли прикладами прошлогоднее зерно и пекли лепехи на саперных лопатках. Через силу домалывал Борис зубами затхловатое, крупнодробленое, еле склеенное в лепешку зерно, заставляя себя изжевать ее всю до крошечки - солдаты оторвали от себя последнее, - уважать фронтовое братство он научился.

Промочив спекшееся горло остатками свекольного чая, он свернулся в сырой щели. Трудился какой-то жук-землерой, обывавший после холодов. Комочки сыпались Борису на лицо, закатывались в ухо.

Наутро неистребимый, заросший малопородистой бородой командир роты Филькин привел во взвод пополнение - человек пятнадцать солдатиков двадцать пятого года рождения и с ними младшего лейтенанта, только что прибывшего из уральского военного училища.

Борис распрощался со взводом, пожелал новому командиру с комсомольским значком на гимнастерке долгой жизни и дружбы с солдатами.

Филькин обнял взводного, бережно по спине похлопал:

- Я буду ждать тебя, Боря!

В дороге лейтенанта догнала повозка. На ней стоял, бойко мотая вожжами, Шкалик, отъевшийся в госпитале, очень всем довольный, особенно тем, что сумели солдаты раздобыть повозку - выбросили пустые ящики, столкнули наземь ездового и велели догонять раненого товарища командира.

С радостью забрался лейтенант в повозку, ткнулся лицом в мышами пахнущую солому. Его подбрасывало на выбоинах, катало по повозке, когда она заваливалась в глубокие, танками прорытые колдобины, но Борис все равно дремал, отупев от боли и усталости.

Шкалик, чмокая губами, шлепал кривоногую лошадь вожжами по бокам и все рассказывал, как они ловко заполучили повозку, как повозочный хватался за оружие, но потом, когда ему дали лепешек и чаю из буряков, а товарищ командир роты угостил легким табаком, повозочный утешился.

В грязном, размешанном логу повозка застряла. Борис попробовал помочь Шкалику, да силенок и того и другого оказалось маловато. Шкалик крикнул: "Я чичас, товарищ лейтенант!" - и прытко побежал вперед лошади, дергая ее за узду.

Лошадь, скрипя колесами, пошла в объезд, миновала бочажину, затрещала кустами. Борис, уронив голову, сидел по другую сторону лога, навалившись на ствол ветлы, изорванной колесами. Внезапно ударило пламя, развалило все вокруг грохотом, за клубился кислый дым. Кашляя, давясь удушьем, взводный слепо ринулся в лог. Перед ним, ломая чащу, упало и покатилося колесо от телеги; из редющего дыма выпадало и шлепалось в грязь что-то мягкое, ударяя в голову запахом парной крови и взрывчатки.

Шкалик был всегда беспечен. Но он-то, он, окопный командир, ванька-взводный, с собачьим уже чутьем, почему позволил себе расслабиться и не почувствовал опасности? Вон же они рядом стоят - дощечки с намалеванным черепом - ограждение минеров. Что это с ним? Почему отерпло и притупилось в нем все, чем держится человек в этой жизни?

- Бедный, бедный мальчик! - сказал, а может, подумал Борис и потер распухшие и зудящие веки. Не зная, что делать, постоял еще, оглядываясь по сторонам, словно бы запоминая это безлюдное, неприметное место, истерзанное колесами, воронками, и побрел лесом в санбат, надсаженный, полуглухой.

Больно ему было от раны, ело глаза окисью взрывчатки, но страдания в сердце не было. Привык. Ко всему привык. Притерпелся. Только там, в выветренном, почти уже пустом нутре поднялось что-то, толкнулось в грудь и оборвалось в устоявшуюся боль, дополнило ее свинцовой каплей.

Нести свою душу Борису сделалось еще тяжелее.

...В санбате оказалось народу густо. Офицеров на перевязку вызывали вперед. Но Борис по окопной привычке везде быть с солдатами забрался в очередь и все пропускал солдат, тех, которые казались ему тяжелее его ранеными.

На стол он попал спустя сутки.

Неповоротливая и молчаливая медсестра не стала отмачивать ссохшиеся рыжие бинты, отодрала их, будто фанеру, с плеча Бориса, промокнула тампоном ударившую кровь из раны, дала ему таблетку, оглянулась воровато и сама съела такую же. Бориса начало укутывать кудельно-волокнустым сном, у сестры тоже затуманились глаза, губы ее сделались мокрые, сонно распыленные.

Врач в старомодных очках с позолоченной оправой, за которой остро и сердито мерцали влажные глаза, расшевелил Бориса, постукав его по плечу кулаком, спросил, где отдается боль. Борис вяло сказал: "Не знаю",- потому что боль отозвалась везде.

Врач озадаченно глянул на больного:

- Наклюкаться где-то успел, сердечный,- и потыкал в рану зондом.

Кровь потекла бойчее, защекотала струйкой спину, живот. Бориса понесло со стола. Ему сделали укол, потеряли виски нашатырным спиртом и разрежали плечо крест-накрест.

Через неделю, от силы через две - заверила лейтенанта старшая сестра медсанбата,- он снова будет в строю. Что-то тут не так: ранение в плечо простым не бывает, при нем ни тряхнуть, ни ворохнуть - болит все. Да пусть - не все ли равно, где валяться, лишь бы покойно было. Борис не горлопанил, не ругался, эвакуации не требовал, привыкнув к боли, лежал в палатке или ехал в санбатовской машине, смотрел в небо, и жалостный, устойчивый покой пеленал его младенческой полудремою.

В солнечный незнойный день, когда из лесу тянуло снегом, из логов, где еще серели обмылки сугробов,- талой водой и горьковато-медовым запахом цветущей ивы, Борис выполз из палатки в бельишке, зашитом на животе, бросил чиненое одеяло на землю, опустился на него. Он сидел, прислонившись к чешуйчатому стволу дерева, названия которого не знал.

Мирно ему было. Деловито жужжа, вспыхивая крыльями на солнце, полосами тянули пчелы, оседали на распутившийся ивняк. Ивы гудели, шевелились от

пчел, казалось, курились они, разбрасывая искры по сторонам.

Под хмельное гудение пчел, переклик пичужек, возившихся над головой, под трещание аиста, который ходил по полю, пьяно качаясь, замирая на одной ноге, пуская клювом очереди в небо, под умиротворенный весенний шум, совсем не похожий на буйство вешней Сибири, Борис задремал.

Он слышал все звуки, чувствовал, как холодит сквозь одеяло только еще сверху отмякшая земля, токи ее слышал, рост нарождающейся травы и в то же время ровно бы ничего не слышал, ровно бы все, что происходило вокруг, откликалось не в нем, а в другом каком-то человеке.

Что-то легко коснулось руки, защекотало его. Борис разлепил глаза. По запястью ползла узорчатая бабочка и с серьезностью молодого фельдшера ощупывала усиками зашелушившуюся от мыла кожу.

Борис глядел, глядел на сторожкую бабочку и увидел черные крылышки на рукавах желтого платья, окно в морозных узорах...

- Лю-у-у-у-у-а-а!

Бабочка сорвалась с руки, села на синеватую былку нераспустившегося цветка.

- Лю-у-у-у-у-а-а-а-а-а?!

Бабочка прилипла к голотелому стеблю, похожему на бескровную человеческую жилку, дышала крыльями, готовая вот-вот взлететь.

- Больной, ты не видел Люсю?

Борис, глупенько улыбаясь, уставился на коротконогую женщину с новым цинковым ведром на сгибе руки.

- Повариху не видел, спрашиваю? Он силился что-то понять.

- Ты чего, совсем уже ослабоумел? Повариху не помнишь, которая тебя каждый день по три раза столует? Бабочка успела улететь.

- Ничего я не помню,- с досадою сказал лейтенант.

- Оно и видно.- Женщина покатила на коротких ногах к ручью, заорала еще громче: - Лю-у-у-у-у-а-а-а! Куда тебя черти унесли?

"Люся, куда тебя черти унесли? - Борис ткнулся лицом в пахнущее больницей одеяло. - Лю-у-у-ся-а-а! Да была ли ты, Люся? Была ли?!"

Он грудью ощущал, как из земли равнодушно текло в него едва ощутимое ее дыхание, и тоска его, и слабый бунт - не помеха, не помога земле. Она занята своим вековечным делом. Она на сносях, готовится рожать и, как всякая роженица, вслушивается только в себя, в жизнь,

шевелиющуюся в недре. До него, выдохшегося человечешка, нет ей никакого дела - земля вечна, он мимолетный гость на ней.

На очередном обходе главный врач санбата осмотрел Бориса, поворачивая его то передом, то задом, постучал кулаком под правой лопаткой и, заметив, что лейтенант сморщился, сурово спросил:

- Болит?

Борис опустил голову:

- Болит.

Врач через очки бодуче смотрел на него, неторопливо свертывая кровянисто-багровые жилы фонендоскопа на руку:

- Подзадержались вы у нас, подзадержались...

Борис уловил в голосе врача неприязнь и плохо спрятанное подозрение.

Послышалось угодливое хихиканье той самой санитарки коротконогой, что искала повариху Люсю.

- У нас тут не курорт, у нас санбат! У нас каждое место на счету...-

напористо заговорила старшая сестра, святоликая женщина с милосердными глазами, так опрометчиво определившая лейтенанту две недели на излечение, а он вот не оправдал ее надежд, лежит и лежит себе.

Распятый на казенной койке ранбольной Костяев Борис беспомощно и жалко улыбался. На его глазах однажды сибирский веселый пареван добивал гаечным ключом подраненную утку. Борису даже почудилось, что он слышит тупой, смягченный пером удар железа по хрусткому птичьему черепу. Вот ведь беда - утка еще эта несчастная в памяти воскресла!..

Да-а, выходит, он занимает чье-то место, понапрасну жрет чей-то хлеб, дышит чьим-то воздухом, запросто живет и живет, тогда как настоящие, нужные люди сражаются, умирают за него и за Родину...

Сдерживая занявшуюся ярость, Борис негромко сказал:

- Так выбросьте меня... на помойку.

Сестру, избалованную лестью, властью и мужицким вниманием, передернуло.

У врача смятенно забегали глаза. Немолодой, заезженный войной, врач этот побаивался старшей сестры по известным всему санбату причинам. Не одного еще такого мямлю-мужика обрабатывает такая вот святоликая боевая подруга. Удобно устраиваясь на жительство, разведет его с семьей, увезет с собою в южный городок, где сытно и тепло будет жить, сладостно замирая сердцем, вспоминать будет войну, нацепив медали на вольно болтающуюся грудь, плясать и плакать на праздничных площадях станет, да помыкать простофилей-мужем будет еще лет десять-двадцать, пока тот не помрет от насады и домашнего угнетения.

- Я не хочу вашего двоедушного милосердия! - глядя прямо в надменный лик сестры, отчетливо произнес Борис и, вовсе уж задушенный яростью, добавил:-Уходите! Иначе я сорву с себя ваши бинты...

- Попробуй! - начала старшая сестра.

- Уходите!..

Врач, умоляюще глядя на старшую сестру, теснил следовавшую за ним челядь к дверям.

- Успокойтесь, успокойтесь!..

- Привязать этого героя к койке! Сделать укол! - громко, чтобы слышно было раненым в других палатках, объявила старшая сестра.

"Господи! Это - женщина?!" - чувствуя, как опадает гнев, опустошенно спрашивал себя Борис.

- Вот, достукался!..- проворчал кто-то из раненых.- Через тебя и нам жизни не даст эта пэпэжэ в белом халате.

С Бориса сдернули одеяло. Дежурная сестра наполненным шприцем целилась в него, сжимая в пальцах левой руки смоченную ватку. Лейтенант покорно подставил себя под укол.

- Не надо привязывать. Пожалуйста...

Украдкой прикрыв его одеялом, дежурная сестра громко сказала в приемной палатке, что все она исполнила, как велено было. Так-то, мол, оно надежней. Распустились, понимаешь, эти раненые, спасу нет.

Уже отмякший от укола, слипающимся сознанием Борис отметил: "Да-а, и это тоже женщина!.."

Проснулся он вялый, совсем обессиленный. На улице крапал дождь, цыпущкой поклевывая палатку. Дальний шум леса слышался, шуршание ползущего по оврагам снега, голос кукушки.

Поздней ночью в палатку завернул врач. Был он в шинели, в пилотке, осевшей до ушей. Голенища сапог на нем глянцево блестели, к мокрым передкам пристали прошлогодние истлевшие листья. Отчего-то все обостренно видел и слышал после нервной вспышки Борис.

- Не спите? - убрав полу сырой шинели, врач присел на кровать лейтенанта, протер очки и объявил сухо:- Я назначил вас на эвакуацию. У вас началось обострение.- После долгой паузы он покривил губы в беловатых шрамах: - Души и остеомиелиты в полевых условиях не лечат,- и грустно добавил: - А милосердие, надо вам заметить, всегда двоедушно! На войне особенно...

Врачу хотелось поговорить, но Борис отчужденно молчал, дожидаясь, когда он уйдет. Дождь сгущался, стучал по палатке монотонно, однозвучно, усыпляюще.

- Развезет дорогу совсем,- вслух подумал врач и встал, горбясь в низкой палатке.- Вот что я вам посоветую: не отдаляйтесь от людей, принимайте мир таким, каков он есть, иначе вас раздавит одиночество. Оно страшнее войны.

На улице врач постоял. Донесло щелчок фонарика, вздох, и мягкие,

расползающиеся шаги поглотила ночь.

Совсем хорошо сделалось в палатке, покойно. Дождь и дыхание спящих раненых уплотняли этот покой. Борис смежил глаза, притих в себе.

Жажда жизни рождает неслыханную стойкость- человек может перебороть неволю, голод, увечье, смерть, поднять тяжесть выше сил своих. Но если ее нет, тогда все, тогда, значит, остался от человека мешок с костями.

Потому-то и на передовой бывало: даже очень сильные люди вроде бы ни с того ни с сего начинали зарываться в молчание, точно ящерицы в песок, делаться одинокими среди людей. И однажды с обезоруживающей уверенностью объявляли: "А меня скоро убьют". Иные даже и срок определяли - "сегодня или завтра".

И никогда, почти никогда не ошибались.

В вагоне санпоезда Борису досталась средняя боковая полка, против купе сестры и няни, занавешенного латаной простыней. Сестра и няня, две заезженные поездом девушки, ставили градусники утром и вечером, разливали в своем купе похлебку, накладывали кашу, разносили посуду с горлышками, утешали раненых как могли. Общительная, необидчивая, терпеливая ко всему няня по имени Арина пыталась разговорить и Бориса, но он отвечал односложно, выжимая при этом извинительную улыбку. Арина отступилась от него, переметнувшись на более разговорчивых ранбольных.

Когда дрема покидала Бориса, он поворачивал голову к окну и видел, как пашут землю на быках, на коровах женщины, как они сеют по-старинному, из лукошка, певучим взмахом руки разбрасывая зерно. Трубы печей и скелеты домов виднелись среди полей, перелесков.

Потом пошли среднерусские деревни с серыми крышами, серой низкой городьбой из тонкого частокола или из неровного и невеселого серого камня. Лоскутья озими подступали к стенам скособоченных изб. Здесь уже, реденько правда, бегали тракторы с сеялками, лошади, опустив головы до борозды, тянули плуги и бороны.

Вечный труд шел на вечной и терпеливой земле.

Борису вспомнилось где-то и когда-то услышанное: "Только одна истина свята на земле - истина матери, рождающей жизни, и хлебопашца, вскармливающего ее..."

Внизу под Борисом лежал худющий пожилой дядька, перепоясанный бинтами, словно революционный моряк пулеметными лентами. Он закоптил лейтенанта табаком, кашляя беспрестанно, с треском сморкался в подол казенной рубахи. Измаявшись лежать на брюхе, попросил дядька перевернуть его на бок. Арина перекатила мослы раненого по полке. Он отстонался, отругался, глянул в окно и ахнул:

- Весна-а!.. Батюшки, тра-авка! А земля-то, земля! В чаду вся! Преет. Гриб в назьме завелся. Хорошо!.. Ой, пигалица, пигалица! Летат, вертухается! Батюшки! И грач, и грач! По борозде шкандыбает, черва ишшет, да сурьезный такой... Нашел! Наше-ел! Рубай его, рубай! Х-хос-поди...

Дядька затрясся, заплакал и сделался с этого дня малохольненьким. Суп ел торопливо, проливая на подушку и простыню, остатки выпивал через край. Кашу, хлеб заглатывал заживо и снова прилипал к окну, хохотал, высказывался:

- И тут на коровах пашут. Захудала Расея, захудала. Вшивец Гитлер до чего нас довел, мать его и размать!...

- Оте-ец! Оте-е-е-ец! - остепеняли дядьку соседи.- Сестра и няня здесь, женщины все-таки.

- А я чо? Рази изругался? Вот мать твою ети...

Потешались над мужиком раненые. Он не обижался, балаболил, вертелся на полке, кадил махоркой и заметно шел на поправку.

- Скоро я, скоро, бабоньки! - кричал дядька в окно вагона, будто бабы, согнувшиеся над плугом, могли его слышать.- Вот оклемаюсь в лазарете и на пашню, на па-а-ашню! - Слово "пашня" он прямо-таки выстанывал. Дядька и Борису давал бодрый совет: - Ты, парень, не скисай! Имайся за травку-то, имайся за вешнюю. Она выташшыт. В ей, знаешь, какая сила. Камень колет! А это кто же, а? Кто же это?! Клюв-от кочергою?

- Кроншнеп это.

- Зачем птицу немецким словом обозвали, туды вашу мать? Кулик это!

Кулик, и все!

- Ну кулик, кулик. Не лайся, ради бога!

- А я рази? Все! Все! Теленок-от, теленок-от. Взбрыкивает. Женить бы тебя, окаянного!..

Так вот и ехали под стук колес, под говор дядьки. Затемненные станции остались под Москвою. Реденько прокалывали ночь огоньки российских деревень, набегали россыпью станционные фонари, вспышки их за окном были похожи на разрывы зенитных снарядов. Стук колес напоминал перестрелку, буханье вагонов по стыкам - разрывы бомб.

К звуку колес, к стуку, к гулу, к бряку лейтенант скоро привык, поезд для него тоже онемел. Он смотрел на мир как бы уже со стороны. "Зачем все это? Для чего? Ну что он, вот этот мужичонка, радующийся воскресению своему? Какое уж такое счастье ждет его? Будет вечно копаться в земле, а жить впроголодь, и однажды сунется носом в эту же землю. Но, может, в самом воскресении есть уже счастье? Может, дорога к нему, надежда на лучшее - и есть то, что дает силу таким вот мужикам, миллионам таких мужиков".

Слезливость напала на лейтенанта. Он жалел раненых соседей, бабочку, расклеенную ветром на стеклу, срубленное дерево, худых коров на полях, испитых детишек на станциях.

Плакал сухими слезами о старике и старухе, которых закопали в огороде. Лиц пастуха и пастушки он уже не помнил, и выходило: похожи они на мать, на отца, на всех людей, которых он знал когда-то.

Раз Борис оживился, услышав, как под окном вагона осмотрщик кроет всех на свете, не выбирая выражений. Стучит молотком по крышке буксы и кроет, по-чалдонски растягивая букву "е". Нахлынуло: пристань, пропахшая соленым омулем, старая дамба, березы над нею, церкви с кустами на куполах, крестики стрижей в небе.

- Земля-ак! Землячо-о-ок! - сипло позвал Борис.

Арина, спавшая в купе, подняла голову от стола, вытерла губы косынкой, подошла к Борису, приложила ладонь на его лоб.

Губы лейтенанта светились, будто наляпаные алой краской на желтом картоне; глаза начищенно блестели, горя последним накалом; губы поплясывали - никак не мог согреться, хотя температура держалась у него высокая.

- Чем же тебе помочь, не знаю,- прошептала Арина и, что-то надумав, засуетилась, сбегала в топку вагона, налила в грелку воды, услужливо присунула ее к ногам.

- Спи, миленький. Злосчастливым ты, видать, уродился. Все люди как люди, а тебя что-то гнетет.- Арина похлопывала по одеялу, байкала его, как малое дитя, но убаюкалась сама. Губы ее приоткрылись, веки беспокойно подрагивали и во сне. Доверчивостью веяло от этой девушки с приплюснутым носом, с соломенно-прямыми волосами, выбившимися из-под косынки на лоб.

Ничем не походила на Люсю эта простенькая из простеньких станичная девушка, но все-таки она приблизила к нему образ той женщины, которую память не удержала, сохранив лишь глубокие, невзаправдашно красивые глаза и ночной пожар за окном, да еще ее дыхание теплое-теплое и слова, смысл которых постиг он позднее: "Вот и помогла я фронту".

До конца не понятая, до конца не увиденная женщина больной тоской остановилась в нем, и тоска та красной корью испекла его душу. "Я тоже маленько помог фронту".

Выпростав руку из-под одеяла, Борис с любопытством притронулся к Арине.

- Вот уходилась - стоя сплю! - испуганно отпрянула Арина.

- Ты минуту-две и спала всего.

- А-а. Как птичка божья - ткнулась, и готово. Ты, оказывается, разговаривать умеешь? Какая печаль-то у тебя?

- Не знаю. Ничего не знаю. Просто тут,- показал на грудь Борис,- заболело...- Мелкий кашель встряхнул его, зашекотало нутро.

Арина попоила лейтенанта из кружки. Кашель унялся, но дыхание его рвалось.

- Ладно, молчи уж, молчи,- сказала няня, укрывая лейтенанта.- Кашель-то какой нехороший.

На большой дымной станции, где сдавали работники санпоезда белье, запасались продуктами, топливом и разным другим снаряжением, Борис вышел из забытья еще раз, услышав музыку, доносившуюся с крыши насупленного, темного от копоти вокзала. Он напрягся. Чумазый вокзал с облупленными стенами, черные, грязные пути, грачи на черных тополях, и вагоны, и дома незнакомого города, раскиданные по пригоркам, и люди с голодной тупостью в глазах - все начало окрашиваться в сиреневый цвет. Погружаясь в него, молодец, обновлялся, делался приглядней мир, а из станционного дыма вдруг явилась женщина с фанерным чемоданом, та единственная женщина, которую он уже с трудом, по глазам только и узнавал, хотя прежде думал, что в любой толпе, среди всех женщин мира смог бы узнать ее сразу.

Женщина смотрела в окно санпоезда, встретила взглядом с его глазами. Дрогнуло лицо ее - она шагнула к поезду, но тут же отступила назад и уже без интереса пробежала взглядом по другим окнам, другим поездам.

Сила, ему уже не принадлежавшая, подбросила Бориса. Арина о чем-то спрашивала лейтенанта, трясла его, а он тянулся к окну вагона, мычал и от усилия закашлялся. Музыка он уже не слышал - перед ним лишь клубился сиреневый дым, и в загустевшей глубине его плыла, качалась, погружаясь в небытие, женщина со скорбными бездонными глазами богоматери.

Очнулся он от прохлады.

Шла весенняя гроза. Толчками, свободно дышала грудь, будто из нее выдувало золу, сделалось сквозно и совсем свободно внутри.

Весенняя гроза гналась за поездом, жала молний втыкались в крыши вагонов, пузыристый дождь омывал стекла. Впереди по-ребячьи бесшабашно кричал паровоз, в пристанционных скверах, мелькавших мимо, беззвучно кричали

грачи, скворцы шевелили клювами.

Сердце лейтенанта, встрепенувшееся от грозы, успокаивалось вместе с нею и вместе с уходящими вдаль громами билось тише и реже, тише и реже. Поезд оторвался от рельсов и плыл к горизонту, в нарождающийся за краем земли тихий, мягкий мрак.

Не желая останавливаться, сердце еще ударилось сильно раз-другой в исчахлую, жестяную грудь и выкатилось из нее, булькнуло в бездонном омуте за окном вагона.

Тело Бориса Костяева выпрямилось, замерло.

Под опустившимися веками еще какое-то время теплилась багровая, широкая заря, возникшая из-под грозовых туч. Свет зари постепенно сузился в щелочку, потом потух, и заря остыла в остекленевших зеницах.

Утром Арина подошла умывать Бориса, он лежал, сморщив рот в потаенной улыбке. Арина попятилась, закричала, уронила кувшин с водой, бросилась бежать по вагону и торкнулась в тамбурное стекло, забыв повернуть ручку двери.

Покойного перенесли в хозвагон, поместили в холодильное помещение. Прикрытый палаткой, среди поленниц дров, среди ящиков, старых носилок и прочего скарба ехал он целую ночь по степи. Потом еще ночь, еще ночь - мертвого не могли сдать, с мертвым возни даже больше, чем с живым ранбольным. В безлесом южном Приуралье, на глухом полустанке мертвого выгрузили, оставив при нем Арину, чтобы она похоронила покойного лейтенанта по всем человеческим правилам и дожидалась санпоезда обратным рейсом.

Покойник оказался и в самом деле несуразным: выгрузили в таком месте, где нет кладбища. Если кто умирал на полустанке, его отвозили в большое степное село. Начальник полустанка сказал, что земля в России повсюду своя, сделал домовину из досок, снятых с крыши старого пакгауза, заострил пирамидку из сигнального столбика, отслужившего свой век. Двое мужчин - начальник полустанка и сторож-стрелочник, да Арина отвезли лейтенанта на

багажной тележке в степь и предали земле.

Закончив погребение, мужчины стянули фуражки, скорбно помолчали над могилой фронтовика, Арина, пронзенная печальной минутой, винясь за бедный похоронный обряд, горестно покачала головой:

- Такое легкое ранение, а он умер...

Люди собрали лопаты и ушли, толкая впереди себя тележку. Арина все оглядывалась, ровно бы на что еще надеясь, утирала глаза рукой, измазанной землей.

Но ничего этого также не было и быть не могло.

Санпоезд, вырвавшись в степные просторы, мчался на Восток почти без остановок, сгружая на больших станциях больных с обострившимися ранениями. Ростов-на-Дону, Краснодар, станица Тимашовская, Балашов - всюду госпитали переполнены,- война шла уже долго. В стационарных госпиталях скопились "отстойники" - больные с трудноизлечимыми ранениями, и хотя их комиссовали недолеченными домой, для дальнейшего лечения по месту жительства, пачками отсылали в нестроевые части с "остаточными явлениями", случалось - и на фронт, в действующую армию сплавляли с сочащимися ранами, со свищами, припадками - все равно госпитали оставались перегруженными.

В Саратове взяли самых тяжелых больных, подзарядили санпоезд топливом, продуктами, медикаментами - и погнали по новому адресу, в город Джамбул, намекнув, что и в Джамбуле могут раненых не принять.

Главсанупр не один этот поезд гонял по городам и весям огромной страны, надеясь на сознательность и патриотизм советских людей. Все равно где-нибудь да сжались, разбросают больных там-сям, разместят сверх всякой нормы, растычут по коридорам, подсобным и служебным помещениям, разделят лекарства, которых и без того катастрофически недостает, сварят суп и кашу пожиже, будут сутками стоять хирурги возле операционных столов, спасая загнивших в долгом пути раненых людей, будут медсестры и няни падать от свехусталости.

Потом деятели санупра отчитаются перед главным командованием, хорошо и

умело отчитаются, их похвалят и наградят...

...Была в очередной раз проявлена находчивость.

Где-то кто-то в безлесной степи вытащил из буксы мазутные тряпки, букса вспыхнула, ось колеса начало заклинивать, санпоезд ткнулся на каком-то безвестном полустанке, где и заправлена была букса, и поезд помчался дальше, пугая гудком немую степь, мелькая белыми занавесками и крестами, соря искрами из патрубков вагонов, клубя и расстилая по равнине тревожный черный дым паровоза.

А в мрачном товарном вагоне, отцепленном и брошенном на полустанке еще в начале войны эвакуированным с запада на восток предприятием, остался лейтенант Борис Костяев. Его подкинули, нечаянно забыли. Поскольку все деревянное с вагона давно было выдрано и унесено, хозяйственники санпоезда расщедрились и оставили покойного на списанных носилках, поставив их на железную раму вагона.

Мертвый уже пахнул, в степи протяжно завывали волки и ночью пришли на полустанок, окружили старый вагон в тупике.

Начальник полустанка догадался, в чем дело,- не первый раз такое случалось, подкидывали в брошенный вагон, да и на ходу выбрасывали из поездов заключенных, эвакуированных, воров, картежников, детей, женщин, больных стариков - все в той же надежде, что советские люди проявят сознательность, подберут трупы. Умные звери - вечно голодные волки тоже знали об этом, всегда чуяли поживу и, случалось, опережали людей.

Матерясь, кляня войну, покойника и злодеев, его подкинувших, начальник полустанка со сторожем завалили начавший разлагаться труп на багажную тележку, увезли за полустанок и сбросили в неглубоко вырытую ямку.

Поскольку с покойного взять было нечего и помянуть его нечем, пьяница-сторож тоже проявил находчивость и снял с покойника белье. Променив белье на литр самогонки, сторож тут же и опорожнил посудину. Захмелев, он, как и полагается русскому человеку, разжалобился, вытесал из ручки

санитарных носилок кол в виде пирамидки, сходил к безвестной могиле безвестного человека и спяну, спутав ноги с головой, вбил топором свое изделие острием кверху в головы покойного.

Постоял сторож над могилкой, попробовал перекреститься, да забыл, с какого плеча надо начинать, высморкался, вздохнул и поковылял в стрелочную будку, маячившую на исходе полустанка, где он жил и изредка исполнял обязанности стрелочника, да неизвестно, кого и чего сторожил.

Могильный холмик скоро окропило травой. В одно дождливое утро размокшие комки просек тюльпан, подрожал каплею на клюве, открыл розовый рот. Корни жилистых ственных трав и цветов ползли в глубь земли, нащупывали мертвое тело в неглубокой могиле, уверенно оплетали его, росли из него и цвели над ним.

...И, послушав землю, всю засыпанную пухом ковыля, семенами степных трав и никотинной полыни, она виновато сказала:

- А я вот живу. Ем хлеб, веселюсь по праздникам.- Низко склонившуюся над землею, седую женщину с уже отцветающими древними глазами засыпало порошей семян. Солнце катилось за горбину степи, все так же катило небо заря, и, слушая степь, она почему-то решила, что он умер вечером.

Вечером так хорошо умирать.

Закат неторопливо погас. Сок его по жилам трав скатился в землю. Сухо и чисто зашелестела степь. Скакало что-то на мохнатых лапах, то западая, то выпрыгивая на чуть уже заметный свет. Это вырвало и гнало ветром куст до тех пор, пока он не упал в дотлевающий костерок зари.

- Господи! - вздохнула женщина и дотронулась губами до того, что было могилкой, но уже срослось с большим телом земли.

Костлявый татарник робкой мышью скребся о кол-пирамидку. Покой окутывал степь.

- Спи! Я пойду. Но я вернусь к тебе. Скоро. Совсем скоро мы будем вместе... Там уж никто не в силах разлучить нас.

Она шла и видела не ночную, благостно шелестящую степь, а море, в

бескрайности которого качалась одиноким бакеном острая пирамидка, и зыбко
было все в этом мире.

А он, или то, что было им когда-то, остался в безмолвной земле,
опутанный корнями трав и цветов, утихших до весны.

Остался один - посреди России.

1967-1971 - 1989